

The background of the entire image is an abstract, textured composition. It features a mix of vibrant colors including teal, orange, purple, and dark blue. Overlaid on these colors are numerous white, feather-like or leaf-like shapes that appear to be falling or floating, creating a sense of movement and depth. The overall effect is reminiscent of a watercolor or ink wash painting with a dynamic, organic feel.

Эдуард Асадов

Любовь
побеждает зло

Интервью
у собственного
сердца

Эдуард Асадов

**Интервью у собственного
сердца. Том 1**

«ЭКСМО»

1990

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Асадов Э. А.

Интервью у собственного сердца. Том 1 / Э. А. Асадов —
«Эксмо», 1990

ISBN 978-5-04-114109-7

Что связывает Эдуарда Асадова с лордом Вильямом Норманом? Или с Николаем Чернышевским? Как прихотливо иногда переплетаются судьбы людей, казалось бы, далеких друг от друга, как Южный и Северный полюсы, и формируют уникальный характер талантливого человека. История целого рода оживает на страницах автобиографии-исповеди Эдуарда Асадова живо, увлекательно, очень честно, но не назидательно. О драматичной судьбе поэта сквозь призму исторических и литературных событий и историй любви его предков, сформировавших особенные жизненные принципы рода, которые и помогли выстоять, быть бесстрашным, честным в самых трагических обстоятельствах судьбы. И о безграничной любви, которая преодолевает все.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-114109-7

© Асадов Э. А., 1990
© Эксмо, 1990

Содержание

Начало пути: жизнь и поэзия	6
«Исторический дедушка» и другие	15
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Эдуард Аркадьевич Асадов

Интервью у собственного сердца. Том 1

© Асадов Э.А., наследник, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021



Начало пути: жизнь и поэзия

*Кто знает, где концы и где начала,
И по каким путям еще пройду?
Вот пожил в мире, кажется, немало,
Но до сих пор еще чего-то жду...*

Э. Асадов

Майка уезжала из нашего города. Маленькая Майка с большим шелковым бантом на голове. Цвета бантов зачастую менялись: алый, черный, ласково-голубой... Не менялась только сама Майка. Она всегда оставалась самой маленькой среди всех своих одноклассников и самой независимой и самой лучшей ученицей в школе. Училась она почти на одни пятерки. Сквозь призму промчавшихся лет, словно через увеличительное стекло, я с удивительной ясностью вижу ее крохотную фигурку, то мелькающую среди подруг в актовом зале, на большой перемене, то бегущую по лестнице с классным журналом в руке, а то в летнем школьном лагере шагающую по лугу с огромным букетом ромашек. За что она симпатизировала мне? Я не знаю. Но как-то так всегда получалось, что она постоянно «совершенно случайно» оказывалась там, где бывал я. А в лагере она как-то раз тайно проникла в нашу мальчишескую палату и положила мне на подушку, когда там никого не было, большой букет васильков... Как-то незаметно я привязался к ней тоже. Но в подростковом возрасте (а было нам всего по тринадцать) симпатии проявляются своеобразно: мы то спорили, то поддразнивали друг друга, обменивались озорными карикатурами и записками, а то старались друг друга как-нибудь разыграть. И это было славно и весело. А вот теперь она уезжала... Шел 1936 год. Страна переживала горячие, но в то же время тревожные дни: все гуще и ярче сверкали доменными печами Тагил и Магнитка, уверенно раздвигал грудью таежную глухомань Комсомольск и все жарче и тверже поигрывал стальными мускулами Уралмаш... набирало силу стахановское движение, а по радио маршеобразно звенела бодрая «Песня о Встречном». И вместе с тем в человеческих сердцах все заметней и напряженней шевелилась тревога. В стране начинались аресты... И люди, ложась спать, больше всего боялись ночного звонка в дверь. Боялась такого звонка и Майкина мама. И, как потом оказалось, боялась не зря. Вот и решила она отправить дочку к ее отцу, с которым уже не жила, в Новгород. Другого варианта, видимо, не было. Вот и провожали мы Майку шумливой гурьбой на свердловский вокзал. Теперь этот город опять именуется Екатеринбург. И хоть нам ужасно было жалко расставаться с Майкой, а у некоторых девчонок даже сверкали на ресницах слезинки, все равно, молодость брала свое: ребята шутили, пели песни, пытались острить по поводу будущей Майкиной жизни и даже полушутя, полусерьезно советовали Майке стать летчицей и постоянно прилетать на Урал. Я нес Майкин набитый книгами тяжелый портфель. А она, выждав удобный момент, положила мне в карман на память свой школьный билет с фотографией и тихо шепнула:

– Я там сообщила тебе новый свой адрес... Напиши непременно... Я буду писать тебе тоже... Интересно: встретимся мы с тобой когда-нибудь или нет...

А я убежденно ответил:

– Почему когда-нибудь? Через год, максимум через два, обязательно!

И потихоньку сунул ей в портфель маленькую шоколадку, на более приличную у меня просто не было денег... Эх, знать бы нам тогда, наивным и добрым, что встретиться мы действительно встретимся, но только через двадцать бурных и долгих лет... Встретимся, когда нам будет уже за тридцать, а за спиной будут и война, и тяжкое горе, и надежды, и новые непро-

стые дороги... И вот, когда Майка уже вошла в вагон и начала переговариваться с подругами жестами через оконное стекло, я увидел спешащего по перрону плечистого мужчину в черном драповом пальто с бежавшей рядом с ним рыжей собакой. Подойдя к одному из вагонов, он, присев, снял с собаки ошейник и, что-то сказав, погладил ее по спине. Та доверчиво виляла хвостом и пыталась лизнуть его в щеку. Но мужчина, отстранив пса, выпрямился и, не оглядываясь, пошел к вагону. Собака пристально смотрела ему в спину не шевелясь. Затем я потерял собаку из виду, потому что все внимание обратил теперь на окно, за которым стояла Майка. Она махала мне рукой и что-то говорила напряженно и быстро... Но что? Я так и не понял. Но вот поезд тронулся, и Майкино окно стало уплывать от меня все быстрее и быстрее... Вагоны уже не шли, а с коротким перестуком мелькали, летя в сторону семафора, поднявшего зеленый фонарь. Они бежали, пока последний с багровым огнем позади не начал скрываться вдаль. И тут я неожиданно снова заметил того рыжего пса, которого бросил на перроне хозяин. Вытнувшись в тугую напряженную линию, он мчался по шпалам за поездом. И, казалось, не было на свете силы, которая могла бы его удержать! В ту пору я, конечно, не знал и не думал о том, что когда-нибудь напишу об этом стихи. Я только стоял и смотрел с огромным волнением на бегущего за поездом пса.

Почему я говорю об этом сейчас? Да потому, что в эпизоде этом как бы слились, сфокусировались две сверкающие точки: жизнь и поэзия! И сколько впоследствии в судьбе моей всплывало всяческих эпизодов и впечатлений, которые под самыми различными углами так или иначе переплавлялись потом в стихотворные строки, – сосчитать невозможно! Только не надо воспринимать это все упрощенно: эпизод – стихотворение, событие – стихотворная фабула. Процесс превращения случая или факта в стихотворный сюжет, в поэтическую строку гораздо сложнее и трудней, а подчас и значительно фантастичнее. И тем не менее человеческая и творческая судьбы прозаика или поэта неразрывно друг с другом связаны. Пусть не упрощенно, не напрямую, но связаны непременно. Виссарион Григорьевич Белинский сказал когда-то о Лермонтове замечательные слова: «Вот – поэт, жизнь которого является продолжением его творчества, а его творчество – есть лучшее оправдание его жизни!» Конечно, у каждого поэта могут быть удачные и неудачные строки. Однако пусть не упрекнут меня в излишнем пристрастии, но у Лермонтова, с моей точки зрения, неудачных строк практически нет. И в подтверждение прекрасных строчек Белинского мы могли бы сегодня сказать: разве смогли бы мы понять и прочувствовать до конца глубину переживаний, духовную остроту и вообще весь пафос таких, например, произведений, как «Мцыри», «Смерть поэта» или «Демон», не будучи знакомы с судьбой самого поэта и редкостной глубиной и силой его души?! А разве сумели бы мы понять и прочувствовать до конца сложность характеров героев его произведений, и прежде всего Печорина, не будучи знакомы с характером, жизнью и всеми перипетиями лермонтовской судьбы!

Кто не знает великолепного стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала» и других его отличных стихотворений? И тем не менее до конца понять всю его любовную лирику можно лишь зная о горячей взаимной любви между ним и Софьей Андреевной Миллер (впоследствии Толстой).

А разве же не накладываются многие и многие страницы жизни Ивана Сергеевича Тургенева на его книги, и в частности на такие его романы, как «Вешние воды» и «Дым»?! Где герои ведут себя хоть и по-разному, но, безусловно, сопрягаясь с чувствами и мыслями самого автора! Я уж не говорю о «Записках охотника» и других. Судьба и творчество. Творчество и судьба! Понятия эти зачастую попросту неразделимы! И это касается не только художников. Если нам интересна книга писателя, то, безусловно, интересна и его судьба. И я это лично знаю, не понаслышке. Ибо получил тысячи и тысячи писем с горячей просьбой рассказать о себе. Такие же просьбы получал я в записках на моих литературных вечерах буквально во всех

городах России и, как теперь принято говорить, в городах стран СНГ. О близких мне людях, о надеждах, о горе, о счастье и о вечной борьбе, которую я веду во имя моих идеалов и правды.

Не мне судить о том, насколько хороша или нехороша эта книга. Но за то, что она написана и честно и искренне, ручаюсь я абсолютно! Прочтите ее и судите сами!

Биографию свою я излагал уже неоднократно. И начинал я ее так, как обычно начинают все, то есть с упоминания об отце и матери. Впрочем, не только о них. Рассказывал я еще и о своем дедушке по материнской линии Иване Калустовиче, которого с уважительной улыбкой называл «историческим». И это, пожалуй, все. Я полагал, что этого вполне довольно. Да никто меня о большем и не просил. Но вот теперь я все чаще и чаще стал думать о том, что мало мы, в сущности, знаем свою родословную. Редко интересуемся дедушками и бабушками, а уж о прадедах зачастую и не ведаем ничего. Ни от этого ли прохладного равнодушия мы и историю своей родины знаем нередко кое-как, с пятое на десятое? Не отсюда ли идет у некоторых людей довольно слабое притяжение к земле, на которой он вырос, к своему народу? Это не громкие слова, не риторика. Это живая правда. В дореволюционные годы существовало немало домов, особенно в аристократических семьях, где родословное древо известно было до седьмого, а то и до десятого колена. И было это справедливо и хорошо. Иваны, не помнящие родства, были не в чести. В октябре семнадцатого революционная волна, сокрушая отжившее, разметала и унесла вместе с тем и что-то важное, дорогое. В частности, родословные нити, семейные связи, а порой и святое уважение к прошлому. Справедливость требует сказать, что подобного рода «забывчивость» в значительной степени подкрепляла политическая обстановка, царившая в те годы в стране. Считалось почти позором иметь предков с дворянским происхождением, выходцев из священнослужителей или купцов. Люди, в чьих семьях были подобные отцы или деды, старались не говорить об этом вслух, стеснялись вспоминать о них в своих анкетах, а со временем и почти забывали. Впрочем, зачем далеко ходить? Даже в нашей, можно сказать, прогрессивной семье о моем дедушке по линии мамы, который был секретарем Чернышевского, говорили с гордостью, а о дедушке по линии отца, который пытался выбиться в купцы, вспоминали неохотно, а уж в анкеты он не попадал и вовсе. И делалось это отнюдь не из страха, никто в нашей семье этим пороком не страдал, и это не раз подтверждала жизнь, а просто из какой-то неловкости и еще по искреннему убеждению, что подобную дорогу почитать нельзя. И сколько таких неловкостей и провалов в памяти и семейных архивах многих и многих людей, сегодня, пожалуй, и сосчитать нельзя. А это очень и очень жаль, ибо сегодня мы вроде бы уже освобождаемся от общественных и классовых предрассудков минувших лет. А сколько ярких, интересных и самобытных имен безвозвратно кануло уже в Лету...

В каждом из нас всегда перекрещены два начала, две дороги, две жизни: материнская и отцовская. Мы их наследники и продолжатели. Их гены, их кровь, их чувства и мысли, их печали, мечты и надежды и вообще все, что билось, страдало, смеялось и пело в их сердцах, получили по наследству мы и несем дальше, добавляя свои мысли и чувства, свои беды и радости, свою надежду и веру для того, чтобы передать нашим детям. Так устроена жизнь. И устроена справедливо. И не только справедливо, но и хорошо, иначе не казалась бы нам она такой короткой!

Но, итак, о линии материнской. Назвать эту линию линией «прекрасного пола» не было бы никаким преувеличением, так как мама моя обладала и в самом деле красотой. И фотографии ее – наглядное тому подтверждение. Так вот, для того чтобы повнимательней познакомиться с моей родословной по линии мамы, надо мысленно перенестись в Петербург второй половины девятнадцатого века. В ту пору трудился там на Путиловском заводе потомственный рабочий Андреев, носивший имя, соответствующее фамилии: Андрей. Дед его, работавший мастером в корабельных доках, по семейным преданиям, 14 декабря 1825 года стоял в толпе на Сенатской площади, когда Николай I расстреливал восстание декабристов. Смотрел рабочий Михайло на то, как под взрывами картечи падали молодые смелые люди, обагрняя крова-

выми пятнами снег, и с того памятного утра люто возненавидел царя. И кто знает, не от него ли жаркие капли той ненависти через несколько поколений добрались до моей мамы и вскипели в ее сердце горячим гневом против несправедливости и увлекли в пламя Гражданской войны?!

Но повернем колесо времени назад. У путиловского рабочего Андрея Андреева была многочисленная семья. Старшей среди детей была Вера – высокая, статная, с независимым взглядом и еще более независимым характером. Теперь мы на несколько минут прервем наш разговор о рабочей династии и шагнем из пролетарского предместья в аристократический квартал Петербурга.

Где-то возле канала Грибоедова за витой чугунной оградой в глубине сада высился особняк. У ворот – строгий молчаливый привратник. В глубину сада вела посыпанная песком липовая аллея. Хозяином дома был отпрыск старинного английского рода лорд Норман. Вильям Жозеф Норман, несмотря на голубую кровь, не чужд был активной деятельности и обладал крупными рыбными концессиями в России. В богатом особняке вместе с ним жили жена его Жозефина и трое детей: Эдуард, Альфред и Луиза. И жить бы этой семье в довольстве и радости, если бы не поразившая дом беда. Внезапная болезнь свалила и навсегда приковала к постели Жозефину Норман. Строгая и немногословная, она мужественно переносила свое тяжкое горе. Муж был к ней всегда предупредителен и добр, однако был он еще слишком молод для того, чтобы обречь себя на монашеский аскетизм. Рано или поздно что-то непременно должно было произойти. Жизнь это жизнь! И оно, это «что-то», случилось. Я не знаю, где и при каких обстоятельствах встретился английский лорд Вильям Жозеф Норман с девушкой из городского предместья красавицей Верой Андреевой. Возможно, что произошло это где-нибудь на проспекте или в саду в день народного гулянья, или у моря в порту, где девушки помогали морякам выгружать рыбу, или... да мало ли где могли познакомиться люди на свете! Пути Господни неисповедимы... Важно одно: они встретились и полюбили друг друга. О том же, что это было большое и серьезное чувство, а не мимолетный роман, говорит уже сам по себе тот факт, что от этой любви родились на свет целых трое детей: Мария, Вера и Владимир. Лорд Норман человек был порядочный и серьезный. При тяжелобольной, но живой жене он жениться еще раз не мог. Он делал все, что мог, для своей любимой, но положение ее было ужасным. По тогдашним временам девушка, родившая вне брака, считалась навек опозоренной. И каким, надо сказать, сильным характером должна была обладать Вера Андреевна, чтобы не только стойко вынести все угрозы и весь позор, который обрушился на ее голову, но родить еще второго и третьего ребенка! Мальчуганом я видел ее портрет и хорошо его помню: темное шерстяное, застегнутое у ворота старинной брошью платье, спокойное волевое лицо, прямой нос и большие выразительные глаза. А на голове... впрочем, нет, правильнее будет сказать не на голове, а над головой не прическа, не завитки, не кудри, а целое архитектурное сооружение из волос. Не знаю, как и на чем все это держалось, каким искусством должны были обладать руки, совершавшие это парикмахерское чудо, но подымалась эта тогдашняя, с позволения сказать, мода едва ли не на высоту второй головы. Моей бабушкой была старшая из троих ее детей – Мария. Отчество ей дали Васильевна, переводя, очевидно, без лишних затей английское Вильям на более знакомое для русского уха Василий. Отец Веры Андреевны, как это нетрудно понять, не мог ни принять, ни простить, ни тем более оправдать отчаянной любви своей дочери. Он проклял и выгнал ее из дома. И она поселилась со своими чадами в небольшом домике на Васильевском острове, который снял для нее Вильям Жозеф.

Мария Васильевна (моя бабушка) рассказывала впоследствии моей маме, что детьми они бегали потихонечку к дому своего отца и осторожно сквозь чугунные узорчатые решетки смотрели с любопытством в сад. Там на спортивной площадке с хохотом и шумом играли в крокет со своими приятелями юные англичане. А по садовым дорожкам ливрейный лакей не спеша возил в коляске седовласую молчаливую даму, укутанную пледом. Вильям Норман постоянно бывал в доме у Веры Андреевны, был неизменно ласков с детьми. И к чести его следует сказать,

что в общениях этих не было ни грамма снисходительного высокомерия. Фактически он относился ко всем, как к членам своей семьи. Конечно, обо всем этом можно судить и рядить как угодно, но я бы просил этого не делать, ибо и без того Вере Андреевне и всем ее детям довелось в ту пору хлебнуть из чаши бытия всякой горечи предостаточно. Но прошло несколько лет, и Жозефина Норман умерла. Вскоре сам собою возник вопрос: что делать дальше? Кто был лорд Норман: лютеранин, католик или протестант, я не знаю, знаю лишь, что он предлагал, причем очень настоятельно, Вере Андреевне принять его веру и вступить с ним в законный брак. Однако Вера Андреевна, при всей своей горячей любви к Норману, согласиться на это не могла. Почему? Причин, как мне кажется, тут было много. Во-первых, я думаю, вера. Дело в том, что Вера Андреевна была религиозна и перейти в другую веру означало для нее изменить Богу, предать свою веру. Понимаю, что, прочитав эти слова, кто-то, возможно, и улыбнется:

– Позвольте! Но если она действительно была религиозной, то как же совместить подлинную веру с поступком, далеким от благословения церкви?

И я отвечаю: не будем к ней слишком суровы. Разве мир знает мало подобных поступков? Разве можно назвать атеистками ну, скажем, Анну Каренину, Настасью Филипповну или Веру из гончаровского «Обрыва»? Нет, ответ тут не так однозначен! Просто у глубоких женских натур Бог и любовь нередко неразделимы. Больше того, подлинная любовь, проникая в ее сознание, душу и кровь, становится и смыслом всей ее жизни и зачастую высшим ее божеством. И я в этом искренне убежден!

Вторая причина – дети: Мария, Володя и Вера, которые были крещены в христианской церкви, и ни менять их веру, ни жить с ними в разных вероисповеданиях мать не считала возможным. Имелась еще и третья причина: дети Нормана. Они были уже достаточно взрослыми, пронизаны гордым сознанием своего аристократизма, любили собственную мать, а затем и память о ней, и убедить их согласиться на подобный брак их отца было бы задачей сложнейшей. И хотя они знали о существовании Веры Андреевны и даже, может быть, понимали проблемы отца, но одно дело все это понимать и совсем другое – законно и полностью породниться. И хотя Вера Андреевна выросла в простой семье и в аристократках не числилась, но от природы была умна и все эти сложности понимала отлично. И, несмотря на настоятельные просьбы любимого, сознательно перешагивая через собственное сердце, на брак этот все-таки не пошла. Единственно, на что она смогла согласиться, так это на то, чтобы поселиться рядом с дорогим человеком. Однако из гордости в роскошный особняк лорда Нормана, где жили его дети и вся обстановка дышала памятью о его прежней жене, она не переехала, а поселилась с малышами в небольшом флигеле в глубине сада. Постепенно двое из детей Нормана, Эдуард и Луиза, перестали ее дичиться, подружились и все чаще и чаще стали заглядывать в уютный ее флигелек. Альфред не делал этого никогда. Сколько лет прожила Вера Андреевна в мorganатическом браке с Вильямом Жозефом Норманом, я не знаю. Думаю, что приблизительно около пятнадцати лет.

Как и почему расстались эти два любящих сердца: Вильям Жозеф и Вера Андреевна, я долгое время не знал. Даже подумал, грешным делом, не бросил ли знатный англичанин свою дорогую «Вэрушу», и только несколько лет назад узнал, что нет, не бросил. Он умер еще до революции в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала Валентина Владимировна. Она рассказала мне, что в первые послевоенные годы она была в Ленинграде и, зная по слухам о том, что лорд Норман никуда не уезжал, а скончался и похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге, она пошла туда и действительно нашла его могилу: большое из черного мрамора надгробье и надпись на английском языке: «Лорд Вильям Жозеф Норман» и даты рождения и смерти. А рядом могила с надписью: «Жозефина Норман». Тетя моя знала, что для того, чтобы могилу не разорили, нужно заявить о том, что есть родственники и, вероятно, что-то дать «за внимание». Но время было такое, что людям, у которых есть связи с заграницей или были родственники-иностранцы, грозили всякие неприятности. И она, честно говоря, побо-

ялась заявить об этом. А когда вновь через много лет приехала в Ленинград и пришла навестить могилу бабушки, то ее уже не было. Видимо, слишком заманчиво было мраморное надгробье. Дети же Нормана Эдуард, Альфред и Луиза после смерти отца, естественно, уехали на родину в Англию. Несколько слов о клане Норманов в Англии. Он многочисленный и солидный. И когда, слушая зарубежные передачи, я вдруг случайно слышу упоминание этой фамилии, я почему-то вспоминаю о Вере Андреевне и ее горячей жертвенной любви. Несколько лет назад радиостанция Би-би-си рассказала о том, как жене Уинстона Черчилля присваивали звание пэра Англии. Лично я, разумеется, с госпожой Черчилль знаком не был, но хорошо помню ее веселый приветливый голос, когда она в сопровождении многочисленной дипломатической и медицинской свиты, в рамках благотворительной помощи, посетила наш госпиталь в Теплом переулке в Москве в 1945 году. Кстати, директором госпиталя, а затем и института ЦИТО был небезызвестный профессор Приоров. Итак, в семидесятые годы, воздавая должное за общественную деятельность, аристократический Лондон присваивал вдове господина Черчилля звание пэра Англии.

По многовековой традиции претендент на такое звание должен был войти в торжественном облачении в палату лордов, где на традиционном мешке с овечьей шерстью сидел председатель палаты. Претендент обязан был стать на одно колено, а председатель палаты, встав с мешка, клал одну руку на голову нового пэра, а другой брал со стола указ о посвящении претендента и громко его читал. Почему я так подробно сейчас об этом говорю? Да потому, что председателем палаты, посвящавшим госпожу Черчилль в пэры Англии, был... лорд Норман. Кем он приходился Вильяму Жозефу, внуком? Внуатым племянником или еще кем-нибудь? Я сказать не могу. Но клан – это клан. Он жив и будет существовать, наверное, долго.

Итак, как было сказано выше, я не знаю причины, по которой любящие люди Вильям Жозеф и Вера Андреевна расстались. Есть еще одна версия. И она, судя по характерам этих людей, лично мне кажется наиболее вероятной. Говорили, что любовь эта была действительно большой и оборвалась лишь со смертью Вильяма. Дети Нормана Эдуард, Альфред и Луиза уехали в Англию. А «великая грешница», проклятая отцом и фактически отлученная от церкви, после потери близкого человека оставаться в Петербурге долее не могла. И уехала в Казань к каким-то дальним родственникам. Поступила белошвейкой в одну из мастерских и воспитывала детей. Вскоре Владимир уехал учиться в Москву, а с ней остались Мария и Вера. Жить становилось все трудней, и Вера Андреевна стала сдавать одну из комнат студентам Казанского университета. И первым же ее жильцом оказался мой будущий дед Иван (Ованес) Калустович Курдов. Красота и сердечность Марии Васильевны произвели на него глубокое впечатление. Они подружились и, как легко догадаться, полюбили друг друга. После окончания Иваном Калустовичем университета она уехала с мужем сначала на Михайловский завод, где Иван Калустович работал врачом и где, кстати сказать, родилась моя мама, а затем жила с ним до своей смерти в Перми. От этого брака у них родились шестеро детей: Нина, Евгений, Виктор, Анатолий, Лидия (моя мама) и Борис. Забегая вперед, скажу несколько слов о детях. Нина Ивановна, став взрослой, первой ушла из семьи. Вышла замуж, а затем, овдовев, работала в советские годы в каком-то учреждении машинисткой. Была она очень полной, набожной, довольно молчаливой. Имелась у Нины Ивановны одна странность. Она боялась огня и ни разу в жизни не зажгла ни одной спички. Когда ей требовалось зажечь керосинку или керосиновую лампу, она звала кого-нибудь из соседей. Когда мне было лет шесть или семь, она присылала мне в письмах копировальную бумагу и я с удовольствием рисовал под копирку. Мне очень нравилось, что из-под моего карандаша, как по волшебству, сразу возникают две и даже три одинаковые картинки. Старший из сыновей, Евгений, после смерти матери тоже сразу ушел из дома. Говорили, что у него произошел какой-то конфликт с отцом. На какой почве, не знаю, но больше он в дом не вернулся и писем не писал. Вера Васильевна, сестра моей бабушки, рассказывала, что он был участником Гражданской войны, сражался с белыми в звании комиссара, а

в послевоенные годы был военным прокурором в Сибири. В 1937 году Женя был арестован и погиб в лагерях. У тети Веры – хотя она приходилась мне двоюродной бабушкой, но я звал ее, как моя мама, тоже тетей, – так вот, у тети Веры в альбоме я видел фотографию Евгения Ивановича: командирская фуражка со звездой, круглое, с полными щеками лицо, небольшие усы и хмурый взгляд больших карих глаз. Нараспашку белый полушубок, грузная фигура и большие, довольно выразительные руки, лежащие на коленях. Ни с ним, ни с другим моим дядей Анатолием не виделся я никогда. Анатолий, по рассказам мамы, был любимцем в семье. Веселый, жизнерадостный, озорной, готовый на любые выдумки и фантазии. Сколько бы шалостей он ни натворил, какие бы ни получил колы-двойки, будучи живым, находчивым и веселым, он всегда умел, что называется, выйти из воды сухим да еще и рассмешить классного надзирателя или педагога. Даже сам Иван Калустович – человек величайшей строгости, не прощавший легко никому никаких слабостей, Анатолию все-таки «слабил» и прощал ему порой то, чего другим детям не спустил бы никогда. Когда началась Первая мировая и кайзеровская Германия своими воинственными дивизиями хлынула на землю России, Анатолий Иванович, так и не закончив последнего класса гимназии, сбежал из дома и ушел добровольцем на фронт, по слухам, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и там в одном из боев погиб. Но если с Евгением и Анатолием я не был знаком никогда, то уж с Виктором Ивановичем, или попросту дядей Витей, не только общался много-много лет, но и любил его больше всех курдовских родственников. Был он высок ростом, чуть грузноват, красив и пользовался успехом у женщин. И если бы я сказал, что сам он был к ним равнодушен, то попросту погрешил бы против истины. Зажив самостоятельной жизнью, он поселился в уральском городе Серове (бывший Надеждинск). Супругой его была тетя Галя, маленькая, пухлая и шумливая украинка. Познакомились они на фронтах Гражданской войны, где Виктор Иванович был командиром кавалерийского эскадрона, а Галина Васильевна боевой сестрой милосердия. Познакомились, подружились и прожили вместе более двадцати лет. Детей у Галины Васильевны не было, к великому ее сожалению. И тогда они взяли из детдома приемную дочь Виолу, которая была моложе меня на год. Характер у тети Гали был, что называется, ершистый и сложный. Она могла вспыхнуть и расшуметься по самому малому поводу, а разойдясь, накричать, нашуметь и даже обидеть. Но при всем при этом душа у нее наидобрейшая. Она готова была в любой час кинуться на выручку к хорошему человеку. Поддержать, помочь, успокоить. А уж какие она готовила обеды, так просто язык проглотить было можно! И угощать умела на славу. Была она и отличной хозяйкой, и любящей верной женой. Меня она любила, словно сына. И я, живя с мамой в Свердловске, гостил у них в Серове часто и много.

Урал! Строгий, прекрасный, дорогой моему сердцу Урал! Сколько я бродил по твоим лесам и чащобам с корзинкой для грибов и туеском для ягод на лямке через плечо... К скольким ледяным и прозрачным родникам припадал пересохшими губами, сколько богатых, гигантских кедров облазил, сбивая тяжелые шишки, на каких ночевал ароматнейших сеновалах и в каких сказочных лесных речушках купался! Об этом, наверное, стоит написать когда-нибудь целую книгу! Не знаю как теперь, но в пору моего мальчишества таежные дебри вокруг Серова были воистину первозданно волшебными. И тут никаких преувеличений нет. Но к рассказу об Урале я еще вернусь, а сейчас еще несколько слов о моей родне.

Пятым по счету ребенком стала Лидия Ивановна – моя мама. Для каждого сына его мама и самая ласковая, и самая красивая. Ну, а как объективно? Самой ласковой на свете я бы свою маму, пожалуй, не назвал. Она была очень добрая, но строгая. Профессиональный педагог присутствовал в ней не только в школе, но и дома. Однако, не будь она требовательной и строгой, неизвестно, вышло бы из меня что-то стоящее и нужное людям. Жизнь все-таки подтверждает, что доброта без требовательной строгости сколько-нибудь заметных результатов не дает. Ну, это я так, к слову. Что же касается красоты, то тут просто достаточно посмотреть на любую из маминых фотографий, чтобы сказать, что красота ей дана была редкая. И многие женщины,

если бы судьба их наделила такой красотой, жили бы, что называется, безбедно и припеваючи. Многие, но не моя мама. Она была совсем иным человеком. Но о ней еще я скажу несколько слов позже. Самым младшим в семье был Борис. В детстве он тяжело болел, да и став взрослым, закаленным и сильным не сделался и, прожив меньше тридцати лет, умер, оставив двух сыновей: Юрия и Владислава. Когда умерла моя бабушка Мария Васильевна и дедушка мой, которому одному подымать шестерых детей было делом непосильным, женился во второй раз, Вера Андреевна вместе с младшей своей дочерью Верой покинула дом моего деда и поселилась навечно в маленьком уральском городе Кыштыме. Городок этот стоит в самом центре уральской красоты. Две горы Егоза и Сугомак, вокруг сказочная тайга, а посередине огромные озера редкостной чистоты – Синее озеро и Увильды.

Здесь, в Кыштыме, Вера Андреевна и умерла. И вот тут произошла, честное же слово, удивительная и трогательная вещь. Вера Андреевна была более пятнадцати лет невенчанной женой лорда Нормана. Но благородного звания леди не имела никогда. И вот ее дети и внуки решили, так сказать, восстановить справедливость хотя бы посмертно. И на гранитном памятнике над ее могилой была высечена надпись: «ВЕРА АНДРЕЕВНА АНДРЕЕВА. ЛЕДИ-БАБУШКА». И пусть спустя годы многим посетителям кладбища надпись эта покажется странной. Что за беда! Главное, что справедливость хоть и поздно, но все-таки к ней пришла... Думаю, что главными инициаторами этой трогательной надписи выступили дочка Веры Андреевны Вера Васильевна и дядя Витя, который горячо ее любил и был очень добрым человеком. Помните: тот самый, которого женщины не обходили своим вниманием и которым он платил в этом плане от полноты души. С тетей Галей он все-таки расстался. Думаю, что немаловажной причиной тому послужила ее бездетность, а Виктор Иванович детей любил, и даже очень. Знаю это по себе. У себя на работе присмотрел он тихую провинциальную барышню, счетовода Лидочку, Лидию Васильевну. Но на отчество она как-то тянула мало, так как была маленькой, пухленькой и кукольно миленькой. Под руку дядя Витя ходить с ней не мог, так как она была почти вдвое ниже его. И если они выходили куда-то в кино или в гости, то она всегда шла впереди, а он, высокий и грузный, – сзади. У Лидочки был тихий голосок (совсем не как у тети Гали). Она была сентиментальна, мужа звала Витусик и двигалась почти бесшумно. Так же тихо и неприметно родила она «Витусику» пятерых детей: Юру, Веру, Витю, Леву и Риту. Я ее в шутку называл за спиной «Лидусиком». Но хотя мама была и тихая, ребята выросли боевыми. Старший, Юра, пошел в рабочие и проработал на серовском металлургическом заводе 30 лет на прокатке. Второй брат, Лева, и посейчас работает в горячем цеху нагревательщиком печи. Вера тоже работала на заводе. Остальные разлетелись кто куда.

Господи, как же хорошо помню я Серов тех далеких довоенных лет! Узенькая, но быстрая и говорливая речушка со смешным названием Каква, утонувшие в палисадниках деревянные дома, дощатые тротуары, заросшие зеленой травкой тихие улочки с привязанными к колышкам на длинных веревках козами, из-за каждого забора – черемуха и сирень... Каменные дома только в центре. Превосходно помню и тот двухэтажный дом возле Каквы, где в одной из квартир внизу жил Виктор Иванович с тетей Галей и Виолкой. И где я обедался до окаменения живота в лесу черемухой и бултыхался в Какве. И второй, тоже деревянный, одноэтажный домик, где жил он уже с Лидочкой на улице Ленина. Если за весь день по улице пройдет хотя бы один грузовик, то это событие. Да и лошадка с телегой проскрипит не чаще, чем трижды в день. Зеленые цветники, огороды, кудахтанье кур да жующие у ворот козы. Ну, а еще тишина, патриархальная тишина. Тишина по всему городу. Нет, о заводах я не говорю. Там шла своя напряженная и горячая жизнь. Но вот на городские улочки она не выплескивалась никак. Улицы жили своей задумчивой и неторопливой жизнью. Сегодня Серов абсолютно другой. Теперь это небольшой, но современный индустриальный город. Многоэтажные здания, асфальт, телевизоры, «Жигули» и «Волги», огромные дворцы культуры, кинотеатры, рестораны, гостиницы. Короче говоря, «Приезжайте к нам в Серов!». Дружба моя с этим горо-

дом не оборвалась. И когда я приезжаю в Серов читать свои стихи, залы, где мне доводится выступать, всегда полны народа. И я глубочайше благодарен городу за ту честь, которую он мне оказал. На том месте, где стоял когда-то дом моего дяди, улица Ленина, дом 149, высится многоэтажный дом. На стене его установлена бронзовая мемориальная доска с моим барельефом и выгравированными датами моего пребывания в Серове. Здесь по установившейся традиции выпускникам десятых классов и школ ПТУ вручались комсомольские билеты. В 1986 году и я был удостоен чести вручить – вместе с первым секретарем горкома комсомола – билеты членов ВЛКСМ юным горожанам рабочего города Серова.



«Исторический дедушка» и другие



О своем дедушке Иване (Ованесе) Калустовиче Курдове мне уже не раз доводилось писать в предисловиях к своим книгам. Однако говорить сейчас о моей родословной и пройти мимо Ивана Калустовича только потому, что уже писал о нем когда-то, было бы абсолютной несправедливостью. Тем более что и на мою маму, и на меня он оказал достаточно большое влияние. Еще и потому, что это был характер уникальнейший, единственный в своем роде. Во всяком случае, я подобных характеров в своей жизни никогда больше не встречал.

Дедушка мой по национальности был армянин. Почему фамилия у него Курдов, я точно не знаю. В семье нашей существовало что-то вроде предания о том, что когда-то, во время армяно-курдской вражды, после какой-то заварухи курдский мальчик попал в плен к армянам. А точнее, его нашли заблудившимся в горах. Был он совсем маленький и имени своего назвать не мог или от страха забыл. Ну, раз он был курдом, то и дали ему фамилию Курдян. Найденых приютили, выкормили, воспитали. Он абсолютно «обармянился», вырос и женился на армянке. Его сын тоже выбрал в жены армянку, их дети тоже и так далее. Поколения менялись, а фамилия Курдян так и переходила от отца к сыну. В Астрахани, куда переехал дед Ивана Калустовича и где основное население было русским, фамилия эта для удобства произношения трансформировалась в Курдов. Так это было или не так, с полной ответственностью я сказать не могу. Рассказываю как слышал. Во всяком случае, версия эта кажется мне достоверной. Что было дальше? А дальше было вот что...

В 1885 году из далекого Вилюя после двадцатилетней ссылки в Астрахань вернулся знаменитый писатель, революционер и демократ Николай Гаврилович Чернышевский. Возвратился и горячо принялся за работу. Ольга Сократовна, занятая детьми и домашними делами, серьезной помощи в работе оказывать ему не могла. Срочно нужен был секретарь. И тогда друзья порекомендовали Николаю Гавриловичу выпускника старших классов гимназии Ивана Курдова. Для такого человека, как Чернышевский, Курдов обладал, без всяких преувеличений, целым рядом достоинств. Во-первых, он был тесно связан с тайными революционными студенческими кружками. Во-вторых, владел великолепным каллиграфическим почерком, а в-третьих, был скромн и с гранитной твердостью умел хранить тайны. Дедушка рассказывал мне впоследствии, что, прежде чем они с Николаем Гавриловичем садились за работу, Ольга Сократовна непременно усаживала его за стакан чая с неизменными бутербродами. Однако чаепитие всегда было коротким, так как Чернышевский рабочим временем дорожил чрезвычайно. Чтобы поддержать его материальное положение, различные издательства либерального толка заказывали ему переводы. Николай Гаврилович, набросив на плечи шерстяной плед, расхаживал обычно по комнате и диктовал, а Ваня Курдов быстро писал, стараясь не пропустить ни одного звука. Так, «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» Вебера, которую переводил в те дни Чернышевский, почти целиком была переписана рукой моего деда. Чернышевский был в жизни исключительно пунктуальным и обязательным человеком. Во время работы не любил отвле-

каться на какие-либо разговоры. Особенно неприятны были ему расспросы о тяжелых и мрачных годах, проведенных в вилейском остроге. Однажды, по свидетельству моего деда, между ними произошел такой диалог:

- Николай Гаврилович, можно мне задать вам один вопрос?
- Не надо, Ваня, я этого не хочу.
- Но откуда вы знаете, какой я хочу задать вам вопрос?
- Знаю, Ваня, знаю. Только задавать этого вопроса не надо. Давай работать.

С первого дня знакомства и до последних своих дней дедушка мой горячо любил Чернышевского, восхищался им и жадно впитывал его идеи, мысли, советы. Мысли Чернышевского, его идеи, идеи народных демократов стали отныне главным смыслом его жизни.

Сегодня в этом доме музей Чернышевского. В 1985 году, ровно через 100 лет, по приглашению Астраханской филармонии, я выступал в различных концертных залах города. Посетил и дом-музей Чернышевского.

Водил меня по залам этого музея самый крупный специалист по Чернышевскому и автор множества монографий о нем профессор Травушкин Николай Сергеевич. Мне и моей жене Галине Валентиновне он показал стенд, над которым висел портрет моего дедушки и где лежали его рабочие врачебные инструменты. А затем подвел нас к большому дубовому столу и не без торжественности сказал:

– А вот это, Эдуард Аркадьевич, стол, за которым работал Николай Гаврилович. Вот здесь сидел Чернышевский, а вот тут – ваш дедушка.

Удивительное это было ощущение – прикоснуться рукой к столу, за которым сидел Чернышевский, а рядом с ним мой дедушка... словно бы прикоснулся к живому кусочку истории! Не забуду этого ощущения никогда! И, стоя у этого исторического стола, я как бы заново ощутил, почувствовал, услышал, как разговаривают в этой комнате два человека, Николай Гаврилович и мой дед.

– Николай Гаврилович, – говорит мой дед, а тогда еще совсем юный Ваня Курдов, – я внимательно прочел все, что вы написали. Роман «Что делать?» я знаю почти наизусть. Но скажите, скажите, как мне жить дальше, что делать, чтобы принести как можно больше пользы народу?

И в ответ тихое покашливание и чуть хрипловатый голос Чернышевского:

– Видишь ли, Ваня, стать счастливым – это естественное стремление человека. Но счастье можно понимать по-разному. Один счастлив, добившись для себя определенных благ, духовных или экономических. Назовем это эгоизмом. А есть иной эгоизм. Тоже эгоизм, но разумный. Что это значит? А значит это следующее: я приношу радость другим, я делаю счастливыми окружающих и от этого счастлив сам. Ты удивлен? При чем же тут эгоизм? А при том, что я, доставляя радость другим, доставляю радость самому себе, значит, я эгоист. Да, вот именно, разумный эгоист. Впрочем, назвать это можно иначе. Дело не в названии. Главное, служить большому делу... Открывать глаза нашему крестьянину на его бесправное угнетенное положение. Но для того чтобы с максимальной пользой служить своему народу, надо многое знать. И тебе, Ваня, нужно учиться, непременно нужно учиться. И вот тебе прекрасный источник знаний: Казанский университет. Настоятельно рекомендую тебе туда поступить. У тебя это непременно должно получиться. Никогда не останавливайся на половине пути. Всякое дело доводи до конца!

Итак, после двух лет секретарства у Чернышевского, а точнее, его интеллектуальной школы (и какой школы!), дедушка мой осенью 1887 года шагнул на мраморный порог Казанского университета. Думаю, что двухлетнего общения с таким ярчайшим человеком, как Чернышевский, вполне достаточно для того, чтобы Ивана Калустовича можно было бы назвать «историческим» и без всяческих кавычек! Но так уж сложилась его судьба, что здесь, в стенах Казанского университета, ему довелось познакомиться с другим редчайшим человеком,

который произведет на него неизгладимое впечатление. Думаю, вы уже догадались, что имя этого необыкновенного человека – Владимир Ульянов! Только Ленин учился на юридическом факультете, а мой дедушка – на естественном. Согласитесь, что быть на протяжении одной жизни знакомым с двумя такими корифеями мысли – случай уникальный! Единственный в своем роде!

С первых же дней учебных занятий сама собой произошла своеобразная политическая поляризация студенческих сил: по одну сторону – революционно настроенное студенчество, по другую – все инертные и консервативные силы. И совершенно естественно, что Ваня Курдов, который, что называется, был взращен и вскормлен идеями Чернышевского, оказался в одном лагере с Володи Ульяновым. С самого начала их увлекло большое и очень важное дело: организация нелегальных студенческих библиотек. Впоследствии я спросил у моего дедушки о том, какое впечатление произвел тогда на него Владимир Ильич. Если не ошибаюсь, разговор этот произошел в 1936 году в Свердловске. Сидя в глубоком кресле и закутанный полосатым пледом, дедушка чем-то напоминал усталого старого беркута: белоснежные волосы и усы, правильный, с легкой горбинкой нос, большие, чуть навывкате глаза – мудрые и спокойные. Дед страдал тяжелой формой одышки и говорил медленно, часто переводя дыхание. На мой вопрос он ответил примерно так:

– Ты спрашиваешь, какое он на меня произвел впечатление? Хорошее впечатление. Не думай только, что я так говорю потому, что это Ленин, – он чуть заметно улыбнулся и перевел взгляд на книжный шкаф, где на верхней полке в белом супере аккуратной шеренгой выстроились все 46 томов Собрания сочинений Владимира Ильича. – Ты же знаешь, что я говорю только правду. А кроме того, разве мог кто-нибудь тогда знать о том, что этот юноша станет когда-нибудь вождем пролетариата и главой страны? Разумеется, нет. Каким он запомнился мне тогда? Невысокого роста, рыжеватый. Ну, это ты знаешь и без меня. Очень энергичный. Кстати, взгляд у него был такой же неожиданный, прямой и быстрый. Он, как мне казалось, не переводил этот взгляд равнодушно от одного человека к другому, а смотрел на собеседника то серьезно, то весело, но всегда с интересом. В вожаки он не рвался. Но как-то само собой получалось так, что к нему прислушивались, с ним считались, и он, словно бы и не делая никаких усилий, каким-то образом всегда был как бы на острие событий. На нелегальных собраниях с многословными речами не выступал, а говорил коротко, но всегда аргументированно и веско. На собраниях сидел, как правило, где-нибудь в стороне и, покусывая ноготь, внимательно слушал ораторов. Однажды так случилось, что молодой Ульянов сидел вполоборота очень близко от меня. Было хорошо видно, как живо и выразительно менялось его лицо в зависимости от того, нравились ему слова очередного оратора или нет. Лицо его то гневно хмурилось, то на этом лице появлялась ироническая улыбка, а то он вдруг удовлетворенно кивал головой и смеялся заразительно и горячо. Впрочем, он не просто слушал выступления других. Из своего угла по временам вставлял замечания или выстреливал репликой такой точной и меткой, что зачистую напрочь сражал противника и вызывал веселые аплодисменты товарищей. Я был старше Володи Ульянова на два года и всякий раз не переставал удивляться тому, что этот юноша, которому едва исполнилось семнадцать лет, обладает таким острым и почти афористичным умом. Не то он тоже заметил меня, не то ему что-то обо мне сказали, но после одного из нелегальных собраний он подошел сам и спросил:

– Скажите, пожалуйста, вы действительно были секретарем у Чернышевского? – и когда я подтвердил, он пошел рядом по коридору и горячо заговорил: – Это архиинтересно! Я думаю, что было бы хорошо и полезно, если бы в ближайшее время вы рассказали о Николае Гавриловиче всем, кто этого захочет. Я уверен, что в желающих недостатка не будет!

Однако идее этой осуществиться не удалось. В декабре того же 1887 года произошел бунт, а точнее, знаменитая студенческая сходка в актовом зале университета, которая, как тебе

известно, закончилась исключением Владимира Ульянова из университета. Исключили в те дни и его, и большинство революционно настроенных студентов, в том числе и твоего деда.

Я не запомнил точной даты этого диалога. Но зато смысл разговора помню отлично. Было мне тогда лет 13–14, и воспринимал я в ту пору все уже совсем как взрослый.

Трижды исключали моего деда из университета за революционную деятельность. И трижды все-таки принимали обратно, правда, порой со значительными интервалами. Окончив университет, Иван Калустович стал земским врачом и на протяжении многих лет находился под негласным полицейским надзором.

Есть на Урале небольшой городок – Михайловский Завод, где, кстати, родилась моя мама. Если вам доведется когда-нибудь там побывать, то непременно зайдите в краеведческий музей, где на видном месте висит портрет моего деда. За что ему оказано такое уважение? За большую общественную и самоотверженную врачебную деятельность, ну а в конечном счете – за служение людям и горячую к ним любовь. Добавлю, кстати, что в Свердловске есть музей истории медицины, где тоже висит портрет Ивана Калустовича Курдова как большого общественного деятеля и врача. В Свердловске он последние годы заведовал лечебным отделом облздрави.

Итак, первым местом работы молодого земского врача был Михайловский Завод, а через несколько лет – Пермь.

Как известно, в 1905 году в связи с осложнившейся политической обстановкой в стране Николай II выпустил так называемый «Манифест о свободе». В Перми этот манифест был торжественно зачитан в Дворянском собрании. После чтения манифеста на сцену вышел молодой врач Иван Калустович Курдов, отстранил зачитавшего манифест обер-полицмейстера и, обратившись к залу, стал говорить о манифесте то, что говорили социал-демократы. За подобную дерзость дедушка мой через несколько дней был арестован. Любопытно отметить, какая порой существовала тогда в среде интеллигенции благородная солидарность. Врач, который был назначен на место Ивана Калустовича, половину своего жалованья отдавал жене и детям арестованного коллеги. И делал он это не раз и не два, а постоянно, вплоть до того момента, когда под давлением общественности Ивана Калустовича охранка вынуждена была выпустить на свободу. А просидел он там практически около года.

Мой «исторический дедушка» был необычайно волевым человеком, не позволявшим себе никаких слабостей. Он не пил, не курил, не признавал веселых беззаботных компаний. Никогда и ни при каких обстоятельствах не повышал голоса. И вообще не говорил ничего лишнего, а только то, что необходимо в данном случае для дела. Не признавал рукопожатий. Никогда в жизни не сказал ни одного лживого слова. Говоря это, я подчеркиваю и повторяю: не то что не лгал, но и просто не хитрил и не привирал никогда и ни при каких условиях. В его кабинете на рабочем столе все лежало в абсолютном порядке и на своем определенном месте. Если, например, кто-нибудь решался передвинуть на его столе карандаш, он немедленно это замечал и был недоволен. Еще одно качество, которое свойственно, к сожалению, далеко не многим, – почти астрономическая точность. Он ни разу и никуда не опоздал, не нарушил данного кому-либо слова. Рассказывали, что в пору, когда радио у людей в доме было редкостью, некоторые его товарищи по работе даже проверяли по нему часы. Например, доктор Перец говорил по утрам своей жене:

– Доктор Курдов прошел под окнами. Ставь часы на полвосьмого!

И говорилось это на полном серьезе. Работая земским врачом, он приходил в бурное негодование, почти в ярость, если кто-нибудь пытался «отблагодарить» доктора не только словом, но и какой-то мздой в виде денег, курицы или какого-то подарка. Он так же был кристально бескорыстен, как и кристально честен. Он ни разу в жизни не ударил ни одного из своих детей. Но они его не только уважали, любили, но и боялись. Причем совершенно взрослые, когда у многих были уже дети, собравшись, например, за праздничным столом, где позва-

нивали не только тарелки, но и рюмки, они приходили чуть ли не в ужас, когда кто-то из окна увидит идущего к ним через двор Ивана Калустовича:

– Товарищи! Идет папа! Убирайте скорее бутылки!

И вот все взрослые и солидные люди, как школьники, кидались к столу, хватали бутылки, рюмки, рассовывали их куда придется, проветривали от табачного дыма комнаты, и когда Иван Калустович, по причине одышки, медленно подымался на их этаж, все «следы преступления» были уничтожены и взрослые дети сидели мирно за самоваром и беседовали о жите-бытье... Знавшие его довольно хорошо люди порой шутили:

– Главным недостатком Ивана Калустовича является то, что у него нет недостатков.

И практически это было действительно так. Став взрослым, я много думал о своем дедушке: откуда и каким образом определились в нем эти черты? Может быть, он таким был рожден? Или каким-то удивительным образом их все приобрел? И вдруг я вспомнил... Вспомнил портрет над креслом в его кабинете! Портрет Николая Гавриловича Чернышевского, которого он не просто любил всю свою жизнь, а, без всяких преувеличений, попросту боготворил. И это относилось в равной степени как к нему самому, так и к его произведениям. И тут меня осенило: Рахметов! Живой Рахметов! Ну как же я этого не понял сразу?! Когда-то в юности он был влюблен в этот образ. И до такой степени считал его превосходным, что вольно или невольно стал ему подражать. А так как Иван Калустович и сам был человеком самобытным и обладал большой волей, то образ любимого героя стал все больше и больше сливаться с внутренним обликом молодого студента и процесс этот продолжался до тех пор, пока не слились они воедино и не стал ученик Чернышевского, волею судьбы, его ожившим героем!

Я говорил уже о том, что после смерти моей бабушки, Марии Васильевны, дедушка мой вскоре женился на второй Марии – Марии Павловне из рода Новгородцевых. Это была молодая провинциальная учительница, не очень красивая и никакими сколько-нибудь приметными качествами не обладавшая. Любила ли она Ивана Калустовича? Вероятно, да, ибо, к чести ее будь сказано, согласилась пойти замуж несмотря на шестерых детей. К мужу она относилась с робким благоговением, называла по имени-отчеству и не возражала никогда и ни в чем. Была она тиха, незаметна и бережлива до скупости. Качество, которое она передала потом и родным своим детям. А детей у нее было трое: Валентин, Зинаида и Лев. Со временем Валентин Иванович Курдов, перебравшись в Ленинград, стал довольно авторитетным человеком, народным художником РСФСР, лауреатом премии им. Репина. Зинаида Ивановна и Лев Иванович переехали в Москву, выучились и получили кандидатские звания. Зинаида Ивановна по медицинской части, как врач, а Лев Иванович по линии радиотехнической.

В послереволюционные годы дедушка мой переехал из Перми в Свердловск, где и жил до последних своих дней на улице Карла Либкнехта в доме, где была всегда, да и находится по сей день, аптека. Мальчуганом я частенько приходил к нему в гости. Во-первых, потому, что деду нравились мои приходы. Будучи не очень разговорчивым и даже суровым, дед наружно своего удовольствия не показывал никак, но я это отлично чувствовал и по выражению его глаз, и по интонациям, и по другим, известным лишь мне, приметам. Разговаривать с Иваном Калустовичем было всегда интересно. И хотя, как я уже говорил, был он немногословен, но и то немногое сказанное им за вечер всегда запоминалось и хранилось в памяти долго. Ну, а во-вторых, я любил навещать дедушку из-за Ханса Кристиана Андерсена. На третьей полке книжного шкафа всегда помещался у него огромный том сказок Андерсена. Это было великолепное старинное издание на блестящей бумаге и с огромными яркими рисунками. Отличный перевод, крупный и четкий шрифт, короче говоря, книга, которой, и по нынешнему моему мнению, просто не было цены! Следует сказать, что к книгам дедушка относился уважительно, бережно, как к живым людям. Он никогда не разрешал перегибать книгу, класть ее на колени (только на стол), слюнить пальцы при перелистывании и, Боже сохрани, загибать углы на страницах! Он всегда сам мастерил закладки из картона и конфетных бумажек, которые приклеи-

вал к картонкам молоком. Я любил читать у него книги, их у него было много, но чаще всего я просил все-таки Андерсена.

– Покажи руки, – коротко говорил мне в таких случаях дед.

Я протягивал. Он просил повернуть их ладонями вверх и, подняв на меня свои чуточку выпуклые глаза, не без иронии в голосе спрашивал:

– Ну и как?

– Да вроде бы ничего, – торопливо отвечал я, – по-моему, вполне годятся.

– Для футбола, возможно, и годятся, – невозмутимо отвечал дедушка, – а вот для книги – никак нет!

И я покорно шел мыть руки. Мыл честно с мылом, зная бескомпромиссный характер деда.

– Ну как, вымыл? – отрываясь от своего чтения (а читал он всегда), снова спрашивал дед.

Я молча кивал головой.

– Ну что ж, покажи, – спокойно и непреклонно говорил дед.

Я протягивал порозовевшие от холодной воды руки (о горячей воде в домах в ту пору и не слыхали), стараясь большим пальцем прикрыть маленькое чернильное пятно на указательном. Но у моего деда такие номера не проходили.

– Покажи как следует, – строго говорил он, – вот этот палец убери в сторону. Так, все ясно... И с такими руками ты собрался взять книгу? Маша, дай ему теплой воды и пемзу! Иначе этого вопроса ему не решить.

И я покорно плелся вновь на кухню оттирать и отмывать злосчастное пятно. Но все мои терзания окупались сторицей, когда я раскрывал на огромном обеденном столе, покрытом всегда белой скатертью, долгожданнейший и любимейший том Андерсена! Раскрывал и погружался с головой в поразительный и неповторимый мир его мудрых и добрых сказок! Особенно нравились мне сказки «Соловей», «Морская царевна» (теперь ее называют почему-то «Русалочкой») и «Оле-Лукояе». Впрочем, нет, не только эти, все, буквально все сказки нравились мне больше всего! Я и до сих пор не могу простить Марии Павловне того, что после смерти деда она, отлично зная, как дорога была всю жизнь мне эта книга, отправила ее в Ленинград сыну Валентина Ивановича (своего сына) Сашке этот волшебный том. Хорошему пареньку, но без малейшей склонности к литературе и уж тем более к какой-то там сказочной лирике. Работал опером в милиции, а потом, окончив юридический институт, стал адвокатом. И когда уже после войны я спросил его об этой книге, он удивленно вскинул на меня глаза:

– Ты знаешь, абсолютно не помню! Да я ведь сказок в детстве не читал никогда.

А мне и сейчас кажется: очутись та волшебная книга снова у меня в руках, я ощутил бы горячую волну счастья! Ведь каждая ее страница пронизана детским и неповторимым жаром моих переживаний, восторгов, горя и любви. Хотя Андерсен и сегодня один из любимейших моих писателей.

Иван Калустович Курдов – мой «исторический дедушка»... Сколько бы раз я ни прилетал в Свердловск в послевоенные годы, я всегда навещаю два самых памятных места: улицу Карла Либкнехта, где жил дед, и улицу (а теперь уже проспект) Ленина, 5.

Почти десять лет прожил я тут. И сегодня могу в самую глухую ночь пройти по всем закоулкам этих дворов, знаю каждый укромный уголок и выступ на чердаках (или, как мы тогда говорили, на вышке), укажу точное расположение любого подвала! Помню ли я тот свой домашний адрес? Боже мой, да как еще помню! Ленина, 5, подъезд 13, квартира 103, четвертый этаж. Кухня и три комнаты. Две из них выходят на улицу Шейкмана, а третья – во двор. Три комнаты – три семьи. Коммуналка. Наша с мамой комната та, что выходит окном во двор. Кто-то живет там сегодня? Однажды, придя в свой родной двор, я даже поднялся по знакомой каменной лестнице на тот еще более знакомый четвертый этаж... Постоял, постоял на площадке, погладил рукой перила... Те же, абсолютно те же самые перила, по которым столько

раз я со свистом съезжал вниз... Но позвонить в дверь не решился. Нет, не оробел, а просто побоялся спугнуть трепетно-хрупкое ощущение детства, щемящую боль нежности и тоски по невозвратно минувшему... Боялся, что откроет дверь какой-нибудь незнакомый заспанный человек и недружелюбно спросит: вам кого?

Нет, пусть так и остается во всех звуках и красках волшебная пора моего детства! Пусть в голосах пробегающей мимо ребятни слышатся мне голоса моих шумных товарищей и даже... и даже мой собственный голос... Пусть все живет и остается нерушимым...

Я иду, не торопясь, по улице Карла Либкнехта, мимо здания, где помещался театр Юного зрителя, мимо здания филармонии, где прежде был дом профсоюзов – «Деловой дом». Возле аптеки я замедляю шаг. Фасад дома перестроен. Но двор еще тот же. Там, в глубине двора, если повернуть налево, темноватая прихожая. Я не вхожу туда, потому что хочу оставить в душе своей все так, как было в те далекие дни: тяжелая, обитая коричневой кожей дверь с медной дощечкой:

ДОКТОРЪ

ИВАН КАЛУСТОВИЧ КУРДОВЪ

И от этой таблички веет чем-то старинным, строгим и милым... Докторъ Мечников, докторъ Боткин, докторъ Чехов... Я медленно иду по улице Карла Либкнехта, иду, стараясь не расплескать до краев заполнившую меня высокую тишину, и все кажется мне, что по-прежнему спокойно и строго смотрят на улицу два освещенных окна с аккуратно привязанными к палочкам ленточками бинта, неизменными розами на подоконниках, между которыми таинственно высятся над глиняными горшками, обернутыми в цветочную бумагу, темно-зеленые важные кактусы... А за ними там, в глубине комнаты... возле настольной лампы, склонившаяся над книгой знакомая фигура дедушки: зачесанные назад белые, как снег, волосы, пенсне на орлином носу, задумчиво нахмуренный лоб и сухие, легкие пальцы, перелистывающие страницу... На опущенных плечах полосатый плед... И неизменный портрет Чернышевского в старинной дубовой раме... Я иду медленно-медленно, чтобы не разрушить видения и не спугнуть тишину...

После смерти моей бабушки Марии Васильевны жить ее детям с мачехой было, прямо скажем, не в сладость. Повторяю, плохим человеком мачеха не была, но... родная мать это все-таки иное дело. Впрочем, я встречал в жизни случаи, когда неродная мать была как родная и отчим у кого-то был как родной отец, но такие случаи все-таки исключение, и вторая супруга Ивана Калустовича под эту исключительную рубрику, при всех ее положительных качествах, все-таки не подходила. В противном случае не разлетелись бы так быстро из дома все дети Ивана Калустовича от первой жены.

Сразу же после окончания пермской гимназии навсегда покинула теперь уже полуродное гнездо и моя мама Лидия Ивановна. Она горячо любила детей, и мечтой ее было учительство. Гимназию окончила одновременно с революцией и сразу же добилась назначения на работу в школу туда, где больше всего не хватало учителей. Вот так и оказалась юная учительница Лидия Ивановна Курдова в далеком Барнауле, где и произошла ее встреча с Арташесом Асадовым – моим будущим отцом. И в этой-то точке пересеклись в 1919 году две линии моей родословной: линия матери и линия, идущая от отца. И если рассказ о материнской линии мы начали с севера, с холодного Петербурга, то для рассказа о моей родословной по линии отца нам придется перенестись мысленно далеко на юг, на древнюю армянскую землю, в солнечный Карабах!

Когда я думаю о моей карабахской родне, то прежде всего представляю себе между горными склонами небольшой, тонущий в зелени городок Гадрут. Тихая тенистая улочка, под огромным развесистым тутовником – небольшой, в три окна домик. Позади – фруктовый сад: яблони, вишни, груши, гранаты и абрикосы... Из домика выходит невысокий, плечистый, с

легкой проседью черноволосый мужчина. Голубая рубашка с распахнутым воротом едва прикрывает мускулистую волосатую грудь. У него загорелое лицо, крупный нос и большие добрые глаза. Это мой прадед Акоп Асатьян – лучший кузнец в Гадруте. Пудовый молот в его руках кажется невесомой игрушкой. Рядом с ним его младший сын Мовзес. Профессия кузнеца кажется ему самой прекрасной и мужественной на свете, и его главная мечта – овладеть в полной мере филигранным мастерством отца. Розовое утреннее солнце уважительно пригревает их мускулистые руки с засученными выше локтей рукавами, широкие, с металлическими наборами ремни, темные полотняные штаны и тупоносые простые сандалии. О чем по дороге в кузницу они сейчас говорят? Я это знаю отлично. У Акопа Асатьяна четверо сыновей: Григор, Самсон, Семен и Мовзес. Самый старший Григорий – грамотей, фантазер, человек, до отказа набитый всевозможными планами, проектами, один грандиозней другого. Размеренная, обычная жизнь, по его твердому убеждению, скучна и бесцельна. Именно потому сначала Григор решил получить образование и стать ученым, потом, когда образования получить не удалось, задумал на Каспии стать моряком. Но масштабы Каспия воображения не будили, и тогда, прочитав какой-то красочный роман о негоцианте, окончательно решил стать купцом и сказочно разбогатеть. Самсон и Семен слушают доверчиво и восхищенно. Цветистые воздушные замки Григора заворожили их целиком. Однако младший, Мовзес, ни в какие негоцианты не рвался. Купеческим караванам и звону драхм или царских золотых он предпочитал родной звук отцовской наковальни и ехать с братьями через Каспий в Красноводск категорически отказался. И три брата уехали одни. Но перед этим самый старший из них, Григор, знакомой дорогой пришел на смежную улочку к соседу Хосрофу и вызвал в сад свою любимую Мариам. Не могу сказать, как долго длился их разговор – час, два или больше... Знаю только одно: она любила Григора верно и преданно и согласилась ждать встречи столько, сколько будет нужно. И никаких женихов не пустит даже в дом. Нет, ее не очень волновали цветистые планы Григора, ей нужен был только он сам и его любовь, и ничего больше. Грамоте армянских девушек в те времена не учили, но бабушка моя, и я убеждался в этом потом не раз, от природы была умна и обладала большим чувством юмора – свойство достаточно чутких людей. Не могу утверждать точно, она мне этого не говорила никогда, но по отдельным ее словам, улыбкам и лукавому блеску глаз я догадывался, что она не очень-то верила в грандиозные планы Григора Акоповича, но, зная его характер, спорить с ним считала излишним. Повторяю, она любила, а любящую душу уговорить легко! И она действительно ждала его, как обещала.

Итак, три брата, Григор, Самсон и Семен, исполненные самых радужных надежд, приехав в Красноводск, ступили на туркменскую землю. Следует сказать, что в Средней Азии, особенно в Туркмении и Узбекистане, очень много армян. И, как правило, все они карабахцы. Григор, Самсон и Семен, переехав Каспий, сразу же решили стать европейцами. Ну а как же иначе! Ведь им предстоит стать негоциантами и ездить по разным странам! И начать это, разумеется, нужно с европейских фамилий и имен. Итак, Григор... это не совсем то, что нужно. По-русски и по-гречески это будет Григорий. Прекрасно! Теперь Акопович... Нет, это не годится совсем! Какой еще там Акопович! Внимание: Акоп это значит по-европейски Якоб. А Якоб по-русски будет Яков. Чего же проще! Значит, Григорий Яковлевич. Ничего, звучит! А как быть с фамилией? Асатьян – это не Европа. Но тут все еще проще: меняем «ян» на «ов» и ответ готов! Асадов.

Итак, в девяностых годах прошлого века по туркменской земле пошли искать счастья три новоиспеченных Яковлевича, три Асадова – Григорий Яковлевич, Самсон Яковлевич и Семен Яковлевич. Но радужные надежды сбываются чаще всего только в мечтах. Каких только профессий не довелось сменить, в сущности, очень наивным и доверчивым молодым карабахцам! Дедушка мой был и каменотесом, и землекопом, и парикмахером, и приказчиком в магазине. Всех профессий и перечислить нельзя. Но мечты о сказочном богатстве все же не оставил. Семен Яковлевич остался искать удачи в Ашхабаде, а Григорий Яковлевич и Самсон

Яковлевич перебрались в город Мары. Тогда он назывался Мерв. Работая не покладая рук и день и ночь и обладая при этом солидной энергией и волей, дедушка мой для начала собственного дела небольшую сумму все-таки ухитрился скопить. «Дело» же его помещалось в одном маленьком магазинчике, где продавалось практически все, что нужно скромному труженику в провинциальном городке, – от седел, котлов для плова и всевозможной посуды до шелка, расписных халатов и ситца. Торговлишка была дохленькой и сколько-нибудь серьезных доходов приносить не хотела никак. Но дед был не из тех, кто легко и просто сдается. Он удержался, уцелел и даже выписал из Карабаха свою любимую Мариам. И дело сразу пошло веселей. Не в смысле денег, конечно, а в смысле детей. Их у Григория Яковлевича и Мариам Хосрофовны было ровно девять, точно так же, как и у Ивана Калустовича – моего уральского деда. Как-никак все же оба армяне!

Вот написал сейчас о профессии моего карабахского деда и поймал себя на ощущении какой-то неловкости. Да, именно так. Вот о другом моем дедушке – секретаре Чернышевского говорил с удовольствием, даже с какой-то гордостью, что ли. А почему? В любой цивилизованной стране человек, обладающий собственным делом, уважаемый член общества. Будь у него огромный завод или всего лишь бензозаправочная колонка – он приличный и зачастую просто приятный человек. А нам в послереволюционные годы внушали и даже не внушали, а попросту вбивали в головы и души, что коммерсант или частный предприниматель честным человеком быть никогда не может. Что крестьянин, у которого три коровы, две лошади и полные закрома – мироед и кулак. А вот бедняк, пусть даже он выпивоха и лентяй, – пролетарий, славный труженик и вообще народ. Только теперь, спустя десятки и десятки лет, мы очень медленно, осторожно, но все-таки необратимо начинаем менять этот несправедливый, окаменелый стереотип. И приходим к пониманию, что любой труд, если его делают честные руки, заслуживает уважения. Следует, кстати, сказать, что в те давние послереволюционные дни экономические, нравственные и имущественные критерии были в значительной степени смещены в сторону ригоризма и максимализма. И, кроме того, утверждались вещи, очень далекие от справедливости и даже здравого смысла. Например, зажиточного крестьянина называли кулаком за то, что он мог нанять себе в хозяйство работника. И отнимали у него все, в то же время в городе любой зажиточный чиновник, а порой и тот же самый, что устанавливал подобные законы, имел полнейшее право держать в доме прислугу, иметь личного шофера, иметь на собственной даче и садовника, и сторожа, и даже экономку. И все это считалось абсолютно в порядке вещей.

Перед революцией дедушка мой сумел построить собственный дом на улице Заманова в Мары, он и сейчас там стоит под номером 9. Дом, где я и родился – уже после смерти деда. Впрочем, этот дом был потом продан и построен другой, неподалеку на Туркестанской улице, 4. К сожалению, городские власти снесли этот дом, как и всю Туркестанскую улицу. Дважды в послевоенные годы побывал я в родном городе: в 1962 году и в 1986-м. И в первый приезд жил в нем, в доме моего детства. Сидел на знакомой скрипучей тахте, обедал за огромным семейным столом, гулял по веранде внутреннего дворика. Дом был построен на 75 процентов из сырого глиняного кирпича. «Архитектура» его была наипростейшей. Чтобы представить его себе, возьмите пять одинаковых кубиков. Три из них поставьте перед собой в одну линию. Потом средний кубик приподымите над остальными. Первый и третий слегка сдвиньте друг к другу, чтобы можно было сверху поставить второй. Это главная, фасадная часть дома. Между первым и третьим кубиками были ворота. А в начале третьего кубика – дверь в дом. Теперь приставьте сзади к первому и третьему кубикам, чуть сдвинув их влево и вправо, остальные два. Перегородите их с четвертой стороны стеной соседнего дома и получите наш дедовский дом. К этому надо только добавить внутренние веранды с левой и правой сторон. И во дворе деревянную лестницу, ведущую наверх в мансарду, говоря европейским языком. В 1986 году нашего старого дома уже не было. На его месте оказалась просто заасфальтированная площадка, и ничего больше.

Я выступал в городском концертном зале перед моими земляками. Переполненный зал, множество цветов, горячие и взволнованные записки... Побывал я и на строительстве Марыйской ГРЭС, где работал электросварщиком мой двоюродный брат Аркадий Михайлович Асадов, и в средней железнодорожной школе № 30, где учился когда-то в нулевом классе, и, что самое трогательное, встретил там девочку, которая сидела со мной за одной партой. Сегодня она учительница этой школы. Я читал свои стихи учителям и школьникам и мысленно улетал в мое, увы, теперь далекое-предалекое детство. Побывал я и в другой школе, № 1, где в 1939 году заканчивал восьмой класс. Там тогда был Дом пионеров. Ходил по тем самым коридорам, где бегал подростком пятнадцати лет, загорелым, черноглазым и подвижным, как ртуть. Посидел в классе, том самом и за той же знакомой партой у окна, где на контрольных по алгебре списывал потихоньку решения задач у доброй девочки Нины Булатовой, которая специально отодвигала плечо, чтобы мне удобнее было это сделать. Где ты сейчас, Нина Булатова, – девочка из моего далекого детства?

Перед отъездом я еще раз пришел к моему старому дому на Туркестанской, 4. Впрочем, конечно же, не к дому, а лишь к тому месту, где он когда-то был. Пришел, чтобы попрощаться. Был очень тихий майский вечер, жара спала, густо пахло акацией и сиренью... Я стоял и думал: как быстро все-таки пронесется жизнь. Вот здесь, на этом самом месте стоял дом, читал по вечерам на армянском языке и языке фарси мой дедушка Григор, неторопливой походкой в своих неизменных чувяках шла по коридору с кастрюлей супа или плова моя бабушка, шумели, спорили, ссорились и мирились, хохотали и подтрунивали друг над другом их дети – шесть сыновей и три дочери. Была большая, добрая и дружная семья. Семья моего деда Григория Яковлевича Асадова. И казалось, что конца этой жизни не будет... Я стоял в вечернем свете фонаря над квадратной площадкой, покрытой асфальтом, где когда-то стоял наш старый дом, и молчал. В глубине вечера на невидимом дереве задумчиво посвистывала какая-то птица. В памяти вдруг всплыли тургеневские строки: «...И все они умерли... умерли...» из стихотворения «Как хороши, как свежи были розы» – моего любимого. Говорят, что чувства человека могут передаваться на расстоянии. Не знаю, так это или не так. Я молчал. Но стоявшая рядом жена моя Галя вдруг тихо заплакала...

Но повернем рычажок нашей машины времени на семьдесят лет назад. Туда, где мои близкие еще живы. Меня, правда, нет, я еще не родился. Это будет потом, но они уже есть, и я должен немного о них рассказать.

Нет, никаких великих богатств дедушка мой не нажил. Ни великих, ни даже скромных. Чего нет, того нет. И караванов с товарами ни в Персию, ни в Индию не снаряжал. И ни в Синдбады-мореходы, ни в графы Монте-Кристо судьба пригласить его так и не пожелала. Правда, от торговли всякой всячиной он все-таки сумел перейти к «благородному товару»: ковры и превосходные вина. Но население тогдашнего Мерва увесистых кошельков не имело и красивыми коврами дома свои украшало редко, а что до тонких и хороших вин, так тут тоже дела обстояли не блестяще. Мастерской люд, водоносы, бахчеводы, арбакеши, чеканщики и маляры дорогими и тонкими винами интересовались мало, а предпочитали что-то попроще и покрепче, а главное, подешевле. Так что никаких сбережений в банке дед мой так и не завел. Единственное, чего он добился, так это выстроил дом из необожженного кирпича и попал в книгу почетных людей города за 1915 год.

В моей детской памяти великолепно сохранилось все, что составляло, так сказать, «достаток» родного дома. Сегодня такую обстановку трудно было бы назвать даже приличной. Судите сами. Вот две главные комнаты дома: столовая и спальня. В первой комнате у окна обшарпанный, выдавший виды буфет с дверцами из простого стекла. Большой дубовый обеденный стол, две деревянные скрипучие тахты, покрытые паласами. И я подчеркиваю, не коврами, а всего лишь паласами с восточным орнаментом. На одном из них, спускающемся от самого потолка, наверху выткана старинными буквами надпись «ГРИГОР АСАДОВ». Еще бельевой шкаф с

зеркалом и... вот и все, если не считать фотографий в полированных рамках. Негусто? Да, особенно если учесть, что и столовая и спальня были размером примерно метров квадратных по тридцать, не меньше. В спальне две простые железные кровати, застеленные самыми простейшими покрывалами. Еще один платяной шкаф, но без зеркала, этажерки и выдавший виды пузатый комод. К этому надо добавить дощатые крашенные полы и еще бабушкину полтораспальную металлическую кровать с никелированными шишечками. В третьей комнате все в том же самом духе. Остальные три бабушка после смерти деда сдавала внаем. Единственным «богатством» в доме был, пожалуй, граммофон с полированным ящиком и большой никелированной трубой, внутренность которой была покрыта красной эмалевой краской. Сверху на голубоватой эмблеме с названием фирмы – парящий на крыльях амур. Ох уж и покрутил я этот граммофон всласть! Некоторые пластинки помню и по сей день: «Аве Мария», веселые цирковые сценки клоунов Бима и Бома, «Во Францию два гренадера» и «Блоха» в исполнении Шалаяпина, оперные арии в исполнении Галли Курчи, пластинка Веры Паниной и песни в исполнении Морфесси. Вот и все «негоциантское состояние», которое успел сколотить мой дед. Впрочем, подлинное богатство все-таки было. Это моя дорогая и любимая бабушка Мариам Хосрофовна и дети их, мои дяди и тети, Лидия, Арташес (мой папа), Ашот, Мария, Левон, Арфеня, Михаил, Андрей и Саша. Деда своего я, к сожалению, не застал. Умер он за три года до моего рождения. Но вот бабушку... бабушку знаю, помню и буду хранить в душе своей всю мою жизнь. Небольшого роста, полная, с толстеньким носом и большими темными глазами, из которых не просто светила, а прямо-таки разливалась светлая и кроткая доброта. Говорила она всегда так тихо, что голоса ее в доме почти не было слышно. После смерти мужа она надела черное сатиновое платье и уже никогда ничего, кроме черного, не носила. Двигалась бабушка по дому еще тише, чем говорила, в мягких чувяках на босу ногу. Гладко зачесанные назад волосы были белы, как вершины кавказских гор, простите за такое экзотическое сравнение, но ведь Кавказ – это ее родина, о которой она помнила всегда. Удивительным бабушка была человеком, она никогда и ни на кого не сердилась, и я даже не знаю, умела ли она вообще на кого-то негодовать. Дети прибегали в дом, не соблюдая никакого режима. Прибегали и сообщали на ходу:

– Майрик (мама), я пришел, что поесть?

И бабушка, никогда не выговорив за опоздание, неслышно появлялась в дверях кухни с дымящейся тарелкой в руках и несла ее к столу веранды, если дело было летом, или к большому столу в комнате, если дело происходило зимой. Споры между детьми она решала не серьезными словами, не нравоучениями, а ласковым словом, иронической улыбкой или просто укоризненным покачиванием головы. И как ни трудно в это поверить, но это помогало. Ссора сходилась на нет. Трудилась она по дому с раннего утра дотемна, но никто этого вроде бы и не замечал, привыкнув и считая сие за норму. Повторяю, что грамотной она не была, ни газет, ни книг не читала, но ума, деликатности, прирожденного такта было у нее столько, что хватило бы на двоих. И подтверждением тому дети, которых она после смерти мужа вырастила честными, добрыми и очень трудолюбивыми людьми.

Сегодня, когда никого из них уже нет на земле, я спрашиваю себя: а сложилась ли судьба хотя бы одного из них по-настоящему счастливо? И, подумав, отвечаю, да пожалуй, что нет... Самую старшую из них, Лидию, я не видел никогда. Она уехала из дома еще до моего рождения. Уехала, проявив неожиданную строптивость, так не вязавшуюся с ее добрым и мягким характером и оттого показавшуюся еще острее. По рассказам всех, кто видел ее и знал, она была так хороша, что такой красивой девушке вряд ли могла найтись равная во всей Туркмении. Преувеличивали они или нет, я не знаю, но так, или примерно так, говорили практически все. Ходила она в старшие классы одной из армянских школ, когда в город приехал из Москвы один преуспевающий сорокалетний коммерсант. Увидел на Полторацкой улице Лиду и остолбенел. Разумеется, для провинциального азиатского городка светский московский лев с университетским образованием и к тому же с респектабельной внешностью и манерами гостем

был более чем заметным. Как они познакомились и где было их первое свидание, я не знаю. Знаю только, что встречи их становились все чаще и взаимные эмоции пылали, как сухой хворост в костре. Какие пылкие слова говорил потерявший голову Борис Евгеньевич юной красавице Лиде и в каких радужных тонах расписывал ей картины их будущей московской жизни, я не ведаю. Знаю только, что о любви этой в патриархально-строгой семье моего деда никто не посмел ничего сказать. И Григорий Яковлевич узнал обо всем лишь тогда, когда костер этой страсти пылал почти до небес. Гнев Григория Яковлевича, я думаю, понять довольно легко. Девочка-школьница и вдруг влюбляется в человека, который старше ее почти на тридцать лет – 16 и 45! Будь ей, скажем, 30, а ему за шестьдесят, разница была бы не так разительна, но шестнадцать! Но и это еще не все. Были бы глубокие и долгие отношения, знакомства домами, короче говоря, когда все на глазах. А тут бог знает что! Говорят, что у Григория Яковлевича состоялся разговор с московским женихом. Очевидно, сколько-нибудь положительных результатов разговор не дал, так как разгневанный отец после этой беседы запретил дочери даже выходить за ворота. Что было дальше? А дальше все как в старом немом приключенческом кино: любящая девушка поздним вечером тайно проникает на улицу, падает в объятия жениха, а потом – пара рысаков, пролетка, скорый поезд Ашхабад – Москва, в свете луны убегающие рельсы... Погони, правда, не было. Но гнев был, скажем прямо, под стать событиям. Дедушка проклял свою старшую дочь. И то ли так уж сложилась судьба, то ли возымело силу проклятье, но счастье беглянки было недолгим. Супруги действительно зажили так, как и обещал Борис Евгеньевич, то есть на широкую ногу, весело и хорошо. У них родилась дочь Зина, которую оба баловали самозабвенно. Счастливые часов не наблюдают, но часы порой следят за ними очень сурово. Совершенно неожиданно в день рождения при полном стечении гостей за праздничным столом Лидии Григорьевне стало плохо. Она упала и потеряла сознание. В больнице выяснилось, что у нее началось внутреннее кровотечение. Операция подходила к концу, но была большая потеря крови, а ее ночью в больнице не было. И Лидия Григорьевна скончалась прямо на операционном столе. Весь же трагизм заключался в том, что муж находился рядом в приемной и мучился оттого, что не может ничем помочь, а помочь, как выяснилось, было можно. У них с женой была одна группа крови. И, когда он узнал о ее смерти и о том, что никому почему-то даже не пришлось в голову выйти в приемную и обратиться к нему, он рвал на себе волосы и чуть не задушил врачей. И действительно, нелепость жуткая: женщина умирает от потери крови, а рядом в нескольких метрах находится горячо любящий муж с той же группой крови! Но трагедия потому и трагедия, что ее никто не предотвратил.

Надо сказать, что трагедия Лидии Григорьевны была еще и в том, что, живя в Москве, окруженная вниманием и заботой мужа, она все-таки глубоко страдала от невозможности повидать родной дом, родителей, братьев и сестер. Отцовское проклятье черной тучей висело над ее головой до последней минуты.

Борис Евгеньевич фактически потери жены так и не пережил. Он сделался нелюдимым, запил и вскоре скончался. Но черная туча все продолжала и продолжала висеть над домом. Зина, их дочь, не зная ни в чем никогда отказов, выросла избалованной и абсолютно не приспособленной к жизни. Когда умер отец, ей было около семнадцати лет. На богатый дом, как мухи, налетели друзья, подруги и женихи. Зина была человеком абсолютно непрактичным. В семье, где говорили всегда только правду, она привыкла верить в каждое слово. И когда осталась одна, продолжала верить приятелям и друзьям. А когда было прожито все (а в доме было что проживать), когда разлетелись, как брызги, во все стороны приятели и друзья, когда подло бросил клявшийся в чувствах жених, она не стала никого упрекать и ни о чем сожалеть. Пошла на Казанский вокзал и бросилась под поезд.

Дальше идут Арташес и Ашот. Судьбы их являются ярчайшим отражением революционной эпохи, наглядным примером противоречивых столкновений политических веяний, убеждений и взглядов. С детских лет помню висевший в столовой рядом с портретом Лиды портрет

моего дяди Ашота. Густые, зачесанные назад волосы, мальчишеские губы и мечтательно-удивленные, устремленные прямо на вас глаза... Ашота, так же как и Лидию, я не видел никогда. Как-то раз, проявляя на листе мокрую переводную картинку, я, взглянув на портрет, вдруг спросил:

– Бабушка, а где сейчас Ашот?

Помню, как лицо у бабушки затуманилось, губы слегка задрожали, а глаза стали наполняться непрошеной влагой. Она долго молчала, а потом, погладив меня по голове, тихо произнесла:

– Вай ме, Эдик-джан, не надо такой задавать вопрос... Ашотик уехал... а где он и какой у него судьба? Откуда могу знать... Уехал и никакой вести потом не прислал... Дай Бог, чтобы живой был... дай Бог...

Она ласково поцеловала меня в щеку и тихо вышла из комнаты... Другие потом отвечали на этот вопрос еще более коротко и непонятно: «Пропал без вести». И вообще говорить о нем в доме не было принято никогда. И только много-много лет спустя, в 1985 году, Яша Асадов, двоюродный брат моего отца, сын Семена Яковлевича, того, что остался когда-то жить в Ашхабаде, пролил мне свет на историю, которую, очевидно, знали старшие дети, но тщательно скрывали от бабушки.

...Мы сидим с Яковом Семеновичем Асадовым в его ленинградской квартире, в которой он живет еще с довоенных лет. У него большие руки, громкий голос, и вообще весь он крупный, энергичный и шумный. И он, и жена его Розалия Артемовна невероятные хлебосолы, они все время подкладывают и подливают. Все очень вкусно, но обильно так, что мы с Галей едва управляемся с блюдами. Все мои литературные вечера в Ленинграде Яша непременно посещает. И теперь за столом дает волю своему буйному (несмотря на возраст) темпераменту:

– Нет, Эдик, ты молодец! И пожалуйста, не спорь! Скромность, конечно, это прекрасное качество. Но ты – поэт, а Галина Валентиновна артистка, вы оба читаете стихи и точно ощущать настроение зала не можете! А я сижу прямо в зале, и мне все видно и слышно: и как слушают, и что говорят в антракте. Нет, вы молодцы, молодцы оба! Честное слово, такие успехи не снились никакому самому модному тенору! А в конце, нет ты только вспомни, в конце весь зал Капеллы встал и стоя скандировал! Ты понимаешь: стоя скандировал! Не знаю, сделала ли на других концертах когда-нибудь такое Галя, но я лично такого не видел ни у кого!

Чтобы умерить его пыл и перевести разговор в более спокойное русло, я вспоминаю Туркмению и нашу асадовскую родню. Ему эта тема так же дорога, как и мне. Внезапно я спрашиваю:

– Яша, а ты не в курсе, что произошло с Ашотом, как и почему он пропал без вести?

Яша оживляется вновь:

– А ты разве не знаешь? Впрочем, да... при бабушке твоей об этом не говорили никогда, – грустно вздохнул и добавил: – Хорошо, раз ты не знаешь, я могу тебе коротко о нем рассказать. Когда в стране, как говорится, загудели вихри Гражданской войны, не все были такими умными, как твой отец. Аргашес, тот определил свою позицию сразу и навсегда. А вот Ашот этого сделать не смог. Конечно, окажись в ту пору дома твой папа, он бы просветил его душу, но Аркадий, как ты знаешь, сидел в барнаульской тюрьме и повлиять на Ашота не мог. А ведь тогда как было? Вспомни! Ах да, помнить ты не можешь, тебя тогда еще на свете не было. Ну ладно! Не в этом дело! Ну так вот. Где правда, где кривда, никто толком не знает. Кругом разные суждения, разные газеты, меньшевики, большевики, эсеры, монархисты, социалисты... Послушаешь тех – вроде правы те, слушаешь этих – получается, что эти правы, ну и так далее. И вот какие-то друзья-приятели убедили Ашота в том, что большевики его как сына коммерсанта поставят к стенке. И нужно с отступающими войсками переехать Каспий, а оттуда на Кавказ и потом через Черное море во Францию, в школу моряков, которая выпускает капитанов и штурманов международного класса. Не знаю, кто уж ему там грезился, капитан

Грант или капитан Гаттерас, не берусь судить, но только оказался он в Красноводске. Один наш знакомый видел его на причале, когда отплывал последний корабль. Шел он молодой, красивый, в скрипучих ремнях, улыбался, а лицо растерянное. Тот человек сказал ему: «Куда ты, дуралей, собрался! Кому ты там нужен! Вернись!» – ну а Ашот заупрямился: «Поеду, погляжу. Будет плохо, вернусь! А сейчас нельзя. Меня расстреляют».

А чего его, мальчишку, расстреливать и за что? Но это мы сейчас умные. А тогда любым слухам было поверить можно. Не остался. Сел на корабль и уехал. Впрочем, не уехал, нет! А только отъехал, метров на триста отъехал, не больше. В общем, «Гроздья акации, цветы эмиграции»... Но война есть война. Кто-то из подпольщиков заложил в трюм корабля мину. И когда корабль отошел от берега метров на триста-четыре, раздался сильнейший взрыв и корабль прямо на глазах у всех, кто стоял на пирсе, моментально пошел ко дну. Спасти не успел никто. Так что ни капитаном, ни штурманом дядя твой стать не успел. Жизнь оборвалась еще в самом начале обидно, горько и до нелепого глупо... Хорошо, что бабушка не узнала об этом ничего. Все-таки надежда хоть чуть-чуть, но теплилась в ее груди... Ну, а папа твой, тот совсем другое дело! Видишь, как в одной семье и какие разные могли оказаться судьбы!

Да, все так. Революционная буря раскидала по разным берегам не только классы и политические группировки, но даже порой и самых близких людей. У моего отца с юности была совершенно твердая и четкая установка на марксизм, на революцию. Торговые устремления отца не только не мешали, но, как мне кажется, еще более подогревали политическую убежденность старшего сына. Не думаю, что революционная литература, которую он читал, вызывала радостное умиление у Григория Яковлевича. Однако о каких-либо столкновениях на этой почве я ничего не могу сказать. Имея склонность к точным наукам, Аркадий Григорьевич (для удобства русского произношения он стал именовать себя так) поступил учиться в Томский политехнический институт. В Томске ушел буквально с головой в водоворот политической борьбы. Вступил нелегально в партию большевиков, весь огонь своей души отдавал борьбе за права угнетенных. Отец свято верил в непогрешимость учения Маркса, Плеханова и Ленина и готов был отдать за это, не колеблясь, всего себя без остатка. Осенью 1916 года по доносу провокатора он был схвачен, арестован и отправлен на три года в барнаульскую тюрьму. Когда в семнадцатом году революция докатилась до Барнаула, огромная толпа, состоящая из рабочих, солдат и революционно настроенной молодежи бросилась к тюрьме освобождать политзаключенных. Перепуганного коменданта вместе с охранниками заперли в одном из казематов, а во дворе устроили митинг. Среди ораторов с пылкой и прочувственно-убежденной речью выступил и Аркадий Асадов. Неизвестно, то ли слова молодого большевика произвели на всех сильное впечатление, то ли боевой вид крепкого и плечистого юноши с горячими армянскими глазами, но его тут же дружно выбрали и назначили комиссаром барнаульской тюрьмы. А может быть, и это, пожалуй, вероятнее всего, решающую роль в этом деле сыграли отзывы знавших его революционных товарищей. Но, так или иначе, назначение состоялось.

Вот здесь-то, в Барнауле, весной, ясным солнечным утром и произошло знакомство молодого комиссара Аркадия Григорьевича Асадова с недавней выпускницей гимназии, юной учительницей Лидией Ивановной Курдовой, приехавшей сюда работать в одну из школ. Познакомились они в доме маминой подруги, учительницы той же школы, которая тоже жила когда-то в Марах и с детских лет хорошо знала семью Асадовых. Мама потом рассказывала мне, что при первом знакомстве Аркадий Григорьевич ей не очень понравился. Неразговорчивый, суровый и даже несколько хмурый, он показался ей каким-то заносчивым и важным. В барашковой папаше с красным околышем, в серой бурке, гимнастерке, португее, на боку маузер в деревянной кобуре, у ворот – рыжий в яблоках рысак бывшего начальника тюрьмы, запряженный в коляску... Все это моей юной маме, уралочке, воспитанной на идеях Чернышевского и романах Тургенева и Толстого, показалось каким-то экзотически-вычурным и картинным. И она, несколько раз довольно дерзко ответив на вопросы самодовольного, как ей казалось,

комиссара, сослалась на занятость и, поспешно собравшись, ушла. На этом, по ее мнению, знакомство было прекращено. Каково же было ее изумление, когда на следующий день, выйдя из школы, она увидела на углу улицы знакомого комиссара. Вежливо поздоровавшись, он попросил ее сесть на несколько минут в коляску, так как у него есть к ней очень небольшой, но серьезный разговор.

– Уж не арестовывать ли меня собрались? – с вызовом спросила молодая учительница. – Имейте в виду, я не провинциальная барышня и ЧК не боюсь!

Тот посмотрел на нее еще более отчужденно и тихо сказал:

– Арестовывать вас никто не собирается. У меня действительно есть очень серьезный разговор. Тут говорить неудобно, поэтому позвольте вас пригласить на чашку чая... Тут недалеко есть один старик чайханщик. Абсолютно приличный человек, я его знаю. Не откажите в любезности... Всего на полчаса.

И не столько из любопытства, сколько не желая показаться трусихой, молодая учительница решительно шагнула к коляске. Когда хозяин чайной, угодливо улыбаясь, стал уставлять «для товарища комиссара» различными яствами стол, она остановила его решительным жестом. Затем, после его ухода, сцепив озябшие пальцы вокруг стакана с чаем, сухо сказала:

– Есть я не хочу. Извините. Вот разве чаю покрепче выпью с удовольствием. И, пожалуйста, скажите то, что вы собирались мне сказать, так как времени у меня мало, я тороплюсь.

Однако то, что она вслед за этим услышала, было такой неожиданностью, что она почти потеряла дар речи. Увешанный оружием и полный таинственности комиссар, густо покраснев и потупившись, тихо сказал:

– Лида...

– Лидия Ивановна, – поправила она.

– Хорошо, Лидия Ивановна... Только не удивляйтесь и не сердитесь. Я люблю вас. И буду самым верным и любящим мужем на свете. Подождите, не перебивайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Да, мы знакомы всего одни сутки, даже меньше. И я ничего сейчас от вас не прошу... Но я отвечаю твердо за каждое слово, которое сейчас говорю. И вы в этом убедитесь. Только не говорите, что завтра не сможете повидаться со мной.

– А я действительно не смогу вас завтра увидеть... – растерянно и почти испуганно произнесла она. – Завтра я уезжаю. В пятидесяти километрах от Барнаула (она назвала поселок) заболели тифом несколько учителей. И, чтобы школу не закрыли, нас с подругой посылают туда примерно на полгода. Будем нагонять упущенное и заниматься даже летом. Это – во-первых, а во-вторых, я действительно еще не знаю своего отношения к вам. Верю, что вы хороший человек, но поймите, разве это серьезно? Нет, я ничего не могу вам сказать, поймите меня, пожалуйста.

Посмотрев ей прямо в глаза, он тихо сказал:

– Я не прошу сейчас никакого ответа. Ровно через полгода я приеду туда к вам в поселок и тогда мы поговорим. А пока скажу еще раз: я действительно буду для вас самым верным и любящим мужем на свете!

Через несколько месяцев он действительно приехал к ней в поселок. И слово свое сдержал. До последнего вздоха был воистину самым верным и любящим мужем на земле. Это подтвердила сама жизнь. Судьба родителей может считаться удачной лишь тогда, когда она не только продолжается в детях, но и помогает им подняться хотя бы на одну ступеньку выше. Когда им посчастливилось сделать детей своих более мужественными, честными и сердечными, чем были они сами. На какую ступеньку удалось шагнуть в этом мире мне, об этом сам я судить, разумеется, не могу. Но с абсолютной уверенностью могу сказать, что принял неплохую эстафету как по отцовской линии, так и по линии материнской!

Что было потом, после того, как родители мои стали мужем и женой? А потом было так: комиссар тюрьмы – такая профессия устроить отца моего никак не могла. Вот борьба с контр-

революцией и бандитизмом – это другое дело! Как работник ЧК он был командиром отряда особого назначения сначала в Кисловодске, а затем в Пятигорске, где зрели тогда контрреволюционные заговоры. И где несколько раз он находился буквально на волосок от смерти.

1920 год. Советская республика в огневом кольце Антанты. На Кавказе высадились англичане и совместно с муссаватистами и дашнаками пытались захватить жизненно важные центры юга. И мой отец, который всегда стремился быть в гуще событий, оказался именно там. Мама моя находилась всегда рядом с ним. В сражениях с англичанами и дашнаками отец мой был комиссаром первой роты второго стрелкового полка. Когда, теснимые врагами, красные войска отступили из Еревана на Камарлю, мама моя была оставлена в городе для связи. Квартирная хозяйка, у которой остановилась моя мама, была сердечным и добрым человеком. Но муж ее, толстощекий, угодливый человек с бегающими глазками, особенного доверия не внушал, хотя считался у красных своим. Два раза в неделю мама встречалась с человеком, которому передавала собранные сведения и узнавала о положении на фронтах. А затем ее предали и арестовали. Но, как выяснилось позже, предал ее не толстощекий хозяин квартиры, он оказался действительно порядочным человеком, а тот, кто приходил к ней для связи. Нет никакого сомнения в том, что жена красного комиссара, да еще занимавшаяся разведывательной работой, была арестантом весьма и весьма ценным.

Спустя многие десятилетия я представляю себе эту хрупкую девятнадцатилетнюю женщину, грубо брошенную в каменный мешок ереванской тюрьмы. Сначала для успешного получения показаний было решено расположить ее хорошим и гуманным обращением. Она молчала. Через несколько дней ее привели в кабинет начальника тюрьмы. Сидя в центре стола в окружении белогвардейцев и дашнаков, щеголеватый английский офицер, дымя сигарой и поигрывая костяным набалдашником трости, спросил ее, явно гордясь своим знанием русского языка:

– Вас зовут Лидия... Лидия Ивановна? Ведь так? У нас нет такой правил воевать с женщинами, – он улыбнулся, – особенно когда если женщина имеет много такой красоты... Я буду говорить вам немного вопросов, а вы мне будете отвечать, и мы вас будем отпускать домой. Согласны?

Она молчала. Тогда, несколько раздражаясь, он произнес:

– Вы напрасно думаете, что мы мало знаем о вас. Мы знаем довольно серьезно. Например, вы – жена комиссара. С какой целью вас оставили в Ереване?

Она продолжала молчать. Он взял себя в руки и заговорил вновь:

– Мы знаем, что вы учитель. Ваш отец известный врач. Вы есть, ну как это?... Интеллигентный человек. Скажите, зачем вам губить молодую жизнь и связывать себя со всей этой рванью?

И тогда она ответила:

– За эту, как вы изволили выразиться, «рвань» лучшие люди моей страны шли в кандалах на каторгу, гибли на этапах и в рудниках. И быть интеллигентным человеком – это прежде всего служить своему народу! Что я, собственно говоря, и делаю!

– Ну так вы глубоко пожалеете об этом! – стукнув кулаком по столу, заорал офицер. – По крайней мере живой вы отсюда уже не уйдете!

И ее посадили в камеру смертников. Не буду рассказывать ни о том, что это была за камера, ни о том, что пережила в эти дни моя мама. Думаю, что это ясно и так. Когда женщине всего девятнадцать и за ней захлопывается чугунная дверь камеры смертников... комментарии просто излишни.

Спасло ее буквально чудо, а если точнее, то неожиданное наступление красных на Ереван. Ночью часть охраны в панике сбежала, а другую часть обезоружили местные подпольщики-большевики. И когда на рассвете отряды Красной армии входили в Ереван, в толпе встречавших стояла и моя мама. Бойцы шли по улицам города усталые, запыленные, но глаза у

каждого сияли молодо и светло. Впереди одной из рот шел высокий, загорелый человек в гимнастерке, затянутой ремнями, в военных галифе и... босиком. Увы, сапоги у комиссара развалились до такой степени, что пришлось их попросту выкинуть.

– Арташес!.. Аркадий! Родной мой... – закричала из толпы молоденькая женщина и, кинувшись вперед, повисла у него на шее. Да, это были мои папа и мама, перенесшие массу невзгод и бед, но исполненные веры в правоту избранного пути, полные молодости и любви.

Я не знаю, на каких участках закавказского фронта воевал в дальнейшем второй стрелковый полк, это дело военной истории, знаю только, что мои родители рука об руку достойно и смело несли все тяготы боевой жизни. Знаю еще, что после окончания военных действий мой отец работал старшим следователем Верховного суда Армении. А потом, получив сведения о смерти отца, Аркадий Григорьевич должен был возвратиться домой, к семье, где жила моя бабушка, окруженная целой оравой ребятни, которую надо было кормить не реже, чем птенцов в ласточкином гнезде. А детей родители мои всегда любили радостно и светло, и своих, и чужих, и всех на свете!

Трудные это были дни. Трудные и прекрасные. Меня могут спросить, что же может быть прекрасного, когда кругом голод, эпидемии и разруха? Все верно. Все так. И голод, и болезни, и замолкшие цеха заводов. Все это было. Но было и другое, была борьба за человека, за справедливость, за новую жизнь. Была в сердцах людей великая вера в справедливость революционных идей. Не будем говорить сейчас о том, кто и как потом, в тридцатые годы опошлял, извращал, калечил и втоптывал в грунт эти высокие идеалы. Об этом сегодня знают все. Но думаю, что если бы Ленин при жизни своей успел разработать, вручить людям основы правового государства, – вся наша жизнь, а точнее, жизнь нашей страны, вероятно, решалась бы совершенно иначе. И вот в связи с этим хочу поделиться одной мыслью. Всю жизнь меня мучил один вопрос: не успел или... Или не поверил в возможность парламентарного правления в нашей стране? Ленина я любил с детских лет. И не потому, что о нем всегда говорили в нашей стране только в превосходной степени, о Сталине тоже говорили в превосходной степени и даже куда больше. Но Сталина я не любил никогда. И опять-таки не оттого, что теперь говорят о нем скверно. Нет, к этой мысли я пришел тоже с детских лет абсолютно самостоятельно. Чем я могу это подтвердить? Да хотя бы тем, что при жизни Сталина, когда почти все поэты посвящали Сталину кто стихи, кто песни, у меня нет ни одного стихотворения, посвященного ему. А молодому поэту без такого стихотворения издать первую книжку было не так-то просто. Но вернусь к прерванной мысли об Ильиче. В последние два года он был тяжело болен. Да, безусловно, в стране была разруха, не было ни хлеба, ни керосина, но он был философом, был интеллигентнейшим человеком, был в конце концов главой государства и не мог, разумеется, жить только нынешним днем и не думать о завтрашнем дне страны. Так вот, если не успел, тогда я глубочайше о том скорблю. А если не верил в парламентаризм, то я по этому поводу тоже скорблю, но уже с болью.

Но вернемся к тем далеким и трудным годам. Только позже, став взрослым, я понял, как трудно было тогда моим родителям, таким еще, в сущности, молодым, приехав в асадовскую семью, взвалить на свои плечи такую ораву. Правда, Лидии Григорьевны в доме уже не было, она жила в Москве. Ашота не было тоже. Но все остальные: Левон, Маня, Арфеня, Миша, Андрей, Саша, а вскоре и я в придачу, уже были. Всех нужно было питать и всем были необходимы и штаны, и рубашки, и обувь, и книжки, и множество нужных и ненужных вещей. О самой бабушке я уж и не говорю. Короче говоря, всего нас было ровно десять человек, а работников – только двое. Но ничего, работали, и не только работали, но еще и не забывали улыбаться.

Уже много позже мама рассказала мне такой, например, случай. Однажды вечером, когда спала жара, они с отцом пошли прогуляться в парк.

...Мы сидим с мамой в ее комнате на Кропоткинской улице, она попивает мелкими глотками крепко заваренный чай и, улыбаясь, рассказывает:

– Вот приходим мы в городской парк, а там по случаю какого-то праздника идет гулянье, играет духовой оркестр, танцы и разыгрывается лотерея, призы какие-то там ерундовые, но главный приз – верблюд. И не какой-нибудь там плюшевый, нет, а самый настоящий, живой. С колокольчиком. И стоит тут же, привязанный за веревочку к тутовнику. Билет стоит пятьдесят копеек. У отца твоего характер был жизнерадостный и веселый. Он увидел верблюда и говорит мне: «Лелинька, хочешь я выиграю сейчас для тебя верблюда?» Я смеясь говорю: «А что я с ним буду делать?» Арташес серьезно говорит: «Как что? Будешь по утрам на работу ездить. Вот для ребят будет радости!» Я смеюсь и отвечаю: «Так ты этого верблюда и выиграешь! Он, наверное, тут только для приманки стоит. Тут ведь все шахер-махер...» А он улыбается, но отвечает серьезно: «Лелинька, в моем родном городе никакой шахер-махер не допускается. Вот посмотри, сейчас подойду и сразу выиграю верблюда!»

Подходит к кассе, вынимает из кармана полтинник, подбрасывает его в воздухе и говорит улыбаясь:

– Ну-ка, дайте-ка мне билетик на верблюда. Я специально пришел его выиграть. Сейчас выиграю его и поведу домой!

Он платит деньги, запускает руку в мешок, вытаскивает билетик и протягивает комиссии, которая сидит за столом:

– Пожалуйста, посмотрите, билетик на верблюда!

Те разворачивают билетик и разевают рты: «Точно. Верблюд!»

Тут народ сбежался, начался спор, галдеж. Кто-то кричит: «Он заранее знал про верблюда! Я сам слышал! Не давайте, это жульничество!» А другие возражают: «Никакого жульничества. Все было честно!» А тут из толпы выныривает брат Аркадия Левон. Аркаша дает ему в руки веревочку от верблюда и говорит: «На, веди его домой, пока не отобрали!» Ну тот взял и увел.

Я спрашиваю:

– А куда потом его дели?

Мама вздыхает:

– Да уж не помню точно – куда. Кажется, кому-то из туркмен продали. Семьища-то ведь какая была, ну и туговато было с деньгами.

Да, семья была большая, но жили все дружно и весело. Время было сложное. Моя мама была педагогом и активным участником борьбы с беспризорностью. Работала и в женотделе, и в школе, и буквально везде. Педагогом была она не только в школе. Одно время работала и в детских домах. Ребят туда приводили трудных, прямо с панели, за спиной у многих всевозможные шайки, кражи и тюрьма. И в обращении с собой ни лицемерия, ни фальши они не прощали. Так, например, директора детдома, в котором работала мама, за грубость, жадность и бессердечие приговорили на тайном совете к смерти. Приговорили и... убили, пробив ночью голову каким-то тяжелым предметом. И кто это сделал – выяснить так и не удалось. И пусть никто не упрекнет меня в предвзятости, если я скажу, что мама моя пользовалась большим уважением в ребячьей среде и в детдоме, где она работала, и в школах, где преподавала. Знаю это и по отзывам других и по собственным впечатлениям. Ибо потом, когда подрос, учился в той же школе, где преподавала мама. Во-первых, она была абсолютно честна и никогда не лгала, ни на работе, ни дома. Качество, которое наряду с другими она унаследовала от Ивана Калустовича – моего деда. Не помню ни единого случая, когда бы она солгала, хотя бы в пустяке. Обещания свои выполняла всегда scrupulously. С детьми никогда не сюсюкала и не заигрывала, а была при всей своей душевной доброте очень требовательна и строга. Говоря откровенно, из-за этой-то самой строгости я, будучи довольномышленным и ушлым мальцом, став школьником, в ее класс учиться не пошел. Впрочем, это так, к слову. Огромное значение имело еще и

то, что детей она любила, и при всей ее строгости ребята это отлично ощущали. Были и еще два качества, которые производили на многих довольно сильное впечатление, особенно когда они сочетались вместе: редкая красота и бесстрашие. Чтобы не показаться пристрастным, сошлюсь на объективные свидетельства – фотографии, которые сохранились и по сей день. Телевизионный фильм «Эдуард Асадов. Сражаюсь, верую, люблю!» с фотопортретами моей мамы видели миллионы телезрителей. Что же до бесстрашия, то могу твердо сказать, что она абсолютно не боялась ни шпаны, ни пьяниц, ни хулиганов. Обходила стороной только собак. Когда-то в детстве ее страшно напугала большая собака, и с тех пор она их панически боялась. Но вот, повторяю, ни хулиганов, ни алкашей не страшилась ни при каких обстоятельствах. Когда мы жили с ней в коммунальной квартире в Свердловске, то одним из соседей наших был огромного роста прокатчик с Верх-Исетского завода Александр Пономарев. У него было двое маленьких детей и жена Серафима. Напиваясь в дни получки, он начинал молча зверски избивать свою жену. А та принималась вопить так, что слышно было по всему кварталу. Вопила Симка, верещали дети Шурка и Нинка, с грохотом летели стулья, звенела посуда – дым коромыслом!

– Ой, вражина! Ой, убивают! Помогите! – душераздирающе орала Серафима.

Но никто из соседей не смел к ним войти, страшась пудовых кулаков Пономарева. И только моя мама, худенькая и почти невесомая, мгновенно пролетала коридор и решительно распахивала дверь в комнату дебошира. С гневно пылающим лицом, красивая и бесстрашная, она подбегала к огромному Александру и, говоря ему самые возмущенные слова, хватала за руку и оттаскивала от воющей Симы. И, странное дело, он никогда не подымал на нее руки, никогда не произносил ругательств, а моментально утихал. И когда она вела его за руку в кухню к водопроводному крану, он покорно и молча шел за ней, как огромный пароход за решительным и крохотным буксиром. Отвернув кран, она так же отважно нагибала его лохматую голову и совала ее под ледяную воду. И он стоял послушно и молча, пристыженный и укрощенный. А шустрая и вездесущая Симка, вытирая остренький нос кончиком платка, униженной скороговоркой частила:

– Ой, Лида Ванна, спасибо тебе, матушка! Бог тебя спаси! Заступница наша!.. Счастья тебе и здоровья!

А как-то раз, часа через два после укрощенного скандала, она робко постучалась в нашу дверь и испуганно зашептала:

– Лида Ванна, поди-ка ты, голубушка, вытащи его из-под водопровода-то. Замерзнет ведь мой-то, беспреренно замерзнет, сама-то я к нему подступиться боюсь! Уж ты выйди, матушка, погляди сама...

Оказалось, что после того, как мама сунула его голову под ледяную струю, он так и остался покорно стоять, упершись руками в края раковины. И простоял таким образом часа полтора или два, причем зимой, под ледяной струей. Думали, что заболит, сковырнется. Нет, ничего. Воистину, пьяного Бог бережет! Следует сказать, что мама моя обладала душой, если быть точным, социально активной. Ее бесстрашие в отношении всякого рода хулиганствующих элементов никогда не было каким-то теоретическим или отвлеченным. Нет, оно находило свое выражение в самых конкретных поступках. Мама никогда не проходила мимо какого-нибудь безобразия на улице, в вагоне электрички, в магазине или в кино. При этом ни угроза, ни кулак, ни нож не производили на нее никакого впечатления. Если где-нибудь на бульваре какой-то негодяй бил женщину или в парке шпана с угрожающим видом окружала подростка, моя мама мгновенно бросалась на выручку жертве. И вот сочетание яркой красоты с глубокой убежденностью и справедливым гневом оказывали столь сильное действие, что черная сила отступала всегда. И не было случая, чтобы маму мою хотя бы раз ударили или толкнули. Как-то в первые послевоенные годы мама вошла в гастроном на Кропоткинской улице и увидела, как здоровенный парень тащит возле кассы у покупательницы из сумочки кошелек. Мама сейчас же подошла и сказала об этом женщине. Та испуганно поблагодарила и, робко глядя на жулика,

бочком-бочком выскочила из магазина. Однако уголовник не смутился и не удрал. Напротив, развязной походкой он подошел к моей маме и, отвернув полу своего пальто, показал ей нож. Затем со злобой сказал:

– Тебе что, жить надоело? Ну вот попробуй теперь выйти из магазина. Посмотришь, что будет.

И не торопясь, вразвалку пошел к дверям. Все присутствующие в торговом зале мужчины и женщины испуганно притихли и стали расползаться по углам. Все... кроме моей мамы. Вспыхнув от гнева, как костер, она быстро пошла вслед за бандитом.

– Это ты кому, мерзавец, грозишь? Кого собираешься запугать? Меня? Да я таких сопляков, как ты, десятками из помоек вытаскивала! А ну, пойдем на улицу, и я посмотрю, как ты на меня нож доставать будешь!

И, вероятно, столько было силы и бесстрашия в голосе мамы, что, когда она вышла на улицу вслед за бандюгой, того и след простыл. Вот такой была моя мама всю свою жизнь.

...Как я уже говорил, мои молодые родители со всем пылом своих сердец работали педагогами в школе. Что еще? А еще им хотелось иметь собственного сына. И, очевидно, точно ощутив эту мечту и желая как можно больше порадовать папу и маму, я взял и родился 7 сентября 1923 года в семь часов утра. Ну, а родившись, сразу же стал и радостью, и чем-то вроде живой игрушки для моих многочисленных дядюшек и тетюшек, младшему из которых, Саше, было всего четыре, а старшему, Левону, четырнадцать лет. Со мной с удовольствием возились, а чуть я подрос, таскали на руках, катали на спине, наперебой учили читать и писать, петь армянские песни, прыгать то с тахты, то с подоконника, кувыряться, играть в пальчики и постигать тысячи других мальчишеских премудростей. Мама и папа в те дни всегда были на работе, и я больше всего запомнил множество веселых ребячьих рук, а самыми памятными остались для меня навсегда теплые, умные и ласковые бабушкины руки.

Когда человек молод, то душа его устремлена только вперед. Назад он почти не оглядывается, ибо прошлого у него еще нет. Но чем больше проходит лет, тем чаще и чаще человек оборачивается в светлые дали юности. Когда же за спиной улетело довольно изрядно лет, то воспоминания становятся для каждого чем-то особенно важным и дорогим. И вот сегодня, оборачиваясь в эти дорогие и светлые дали, я с особенным удовольствием вспоминаю самые милые близкие имена. И среди них, этих милых сердцу имен, почетнейшие места занимают два человека: Мариам Хосрофовна – моя бабушка и Левон Григорьевич – мой любимый дядя. Судьба так распорядилась, что эти два самых дорогих мне имени (мама и папа не в счет) так на вечные времена и остались вместе. В Марах на армянском кладбище, окруженные небольшой оградкой, прижались друг к другу две могилки. Поперек, соединяя их, лежит мраморная доска. Слева надпись: «Мариам Хосрофовна Асадова» и две даты, на правой стороне другая надпись: «Левон Григорьевич Асадов» и тоже две даты. Всякий раз, приезжая в Мары, я иду поклониться этим бесконечно дорогим мне людям. В последний раз в 1986 году нам с трудом удалось их отыскать. Спасибо, помогла Валя, жена моего двоюродного брата Аркадия, сына Михаила. Аркадий, или, как мы привыкли все его называть, – Адик, очень добрый и хороший человек. Но вот писать письма, проявлять какие-то родственные качества, навещать могилы... этого он, по лености души, не делает никогда. Прикрыл себя удобной фразой: «Я боюсь и не люблю кладбищ», как будто все другие ходят туда для удовольствия и развлечения. В своей новой трехкомнатной квартире он устроил нам с Галей торжественную встречу с великим хлебосольством. Я от души воздал должное его гостеприимству и отличным кулинарным стараниям его жены Вали, но за то что он ни разу не был на кладбище, нахлобучку сделал ему изрядную.

Об удивительно добром и кротком характере моей бабушки я уже говорил, а вот о Левоне Григорьевиче – дяде Леве, о человеке, который заслуживает самых замечательных слов, не сказал еще ничего. А ведь он вложил в мою душу столько светлого и хорошего, что лучи эти

не гаснут в сердце моем и по сей день. Однако, прежде чем сделать это, я должен завершить разговор о моем отце, которого Левон Григорьевич любил бесконечно. Я глубоко сожалею, что не успел соединить свою духовную жизнь с жизнью моего отца, что не дано было мне ни разу сыграть с отцом в шахматы, что ни разу не сходил я с папой ни в парк, ни на стадион, ни в цирк. Помню, что уже в тридцатые годы, когда мы жили с мамой в Свердловске, я особенно остро ощущал отсутствие в моей жизни отца. Метрах в пятидесяти от нашего двора была спортивная площадка, где мы висели на турнике, гоняли в футбол, сражались в городки. Большинство родителей наших ребят работало на Верх-Исетском заводе. К вечеру они один за другим возвращались домой. Мама моя после дневной своей работы в школе уходила на вторую работу, где она преподавала математику на курсах медсестер. И приходила она домой очень поздно, нередко когда я уже спал, а тетя Вера (Вера Васильевна, ее тетя) сидела возле лампы и штопала мне порванную рубашку или дыру на штанах. И вот, когда мы носились под вечер за футбольным мячом по площадке, во дворе появлялся чей-нибудь отец.

– Игорек! – кричал он, приветственно помахав рукой. – Здорово!

– Папа! – обрадованно восклицал наш дворовый вратарь. – погоди, я с тобой! – И к нам: – Ну пока, ребята, я пошел!

И, покинув самодельные ворота, мчался к отцу, держа его за руку и оживленно беседуя, важно шагал с ним домой.

Через некоторое время родители Вовки Зырянова окликали сына, и тот весело бросался на их голоса. А вот Анатолий Константинович Картышев, заводской инженер, поблескивая пенсне, стоит и молча шурится издали на толпу ребятшек. И Колька, мой приятель, рыжий, как огонь, уже занесший ногу над мячом, замирает и смущенно кричит:

– Папа, погоди, я иду!

И так постепенно пустеет площадка... остаюсь только я и еще какой-нибудь бесхозный пацан, который, так же как и я, с хмуроватой завистью смотрит на уходящих приятелей. Да, вот в эти минуты я почему-то особенно остро чувствовал свое полусиротство. Когда я потерял своего отца, нам было до обидного мало лет: мне всего пять с половиной, а ему только тридцать один. Помню ли я папу? Да, в моей памяти сохранились отрывочные, но очень яркие кадры из тех далеких лет. Как сейчас вижу папу, идущего вечером домой. Он только что свернул с улицы Полторацкого на нашу Туркестанскую и идет, помахивая школьной папочкой, по тротуару. Он высок, худощав, загорел и плечист. На нем серые отутюженные брюки и голубая шелковая безрукавка. Я бегу к нему навстречу, а он, подхватив, высоко подбрасывает меня в воздух и весело смеется. А потом, поставив на тротуар, сует в мою ладонь либо шоколадку, либо петуха на палочке, либо какой-нибудь необыкновенного размера персик. Он вообще любил всех чем-нибудь удивлять. То принесет с базара потрясающего размера арбуз, то неправдоподобно огромную дыню, которая при этом окажется сладкой и душистой, как мед. А если мама по какой-то причине решит на него заворчать, он поднимет ее на руки, закружит по комнате и, победоносно хохоча, крикнет:

– Попался, который кусался! Ну вот, теперь пока не поцелуешь, не отпущу ни за что!

Два слова о Мерве двадцатых годов... Как он не похож на сегодняшний город Мары... Никаких многоэтажных зданий и снующих во всех направлениях могучих самосвалов и сотен легковых машин самых последних марок. Никаких неоновых реклам, никакой Марыйской ГРЭС или Туркменского канала нет. Тогда это был маленький, типично азиатский городок, мало чем отличавшийся от подобных городков где-нибудь в Афганистане или Ираке. Двухэтажных домов в городе было всего два – горком партии и здание «Туркменторга» на улице Полторацкого. Но это были, так сказать, первые ростки новой Туркмении. Весь же город был совершенно иным, далеким от европейской культуры. Тихий патриархальный азиатский городок. Одноэтажный, с плоскими крышами, перерезанный вдоль тротуаров во всех направлениях каменными арыками. Никакого асфальта. Либо булыжник, либо грунтовая дорога с огромным

слоем выгоревшей добела пыли. Возле каждого дома – тутовник, акация или тополь. По утрам – загорелый до черноты водовоз на заморенной лошаденке с огромной бочкой на телеге. Ведро воды – 2 копейки.

Первый пассажирский автобус появился в Марах летом 1939 года. Машин было всего две. Ходили автобусы эти от хлопкозавода до Викиль-базара. И первым кондуктором в одном из них был мой товарищ по школе № 1 Колька Беляков. Ну, а я, разумеется, первым пассажиром. И, уж в чем не может быть никаких сомнений, абсолютно бесплатным. А вел первую машину по городу шофер Макс, Максим Петрович, могучего телосложения, рукава рубашки закатаны выше локтей, ворот нараспашку и на груди татуировка: огромный орел, несущий в когтях голую женщину. Почему я оказался в ту пору в Марах? Просто соскучился по родным местам и из Свердловска, по семейным обстоятельствам, на четвертую четверть в восьмой класс приехал доучиваться в Мары. Что это были за семейные обстоятельства? Мама из Свердловска переезжала в Москву, и я к началу учебного года тоже туда к ней приехал. Ну, а теперь снова о близких и родных. Я уже говорил, что если не всем, то очень многим обязаны мы своим родителям.

Мой папа, Аркадий Григорьевич Асадов, пользовался в городе огромным уважением и знали его практически все. Объяснялось это сразу несколькими причинами. Папа мой был превосходным педагогом, преподававшим математику сразу в нескольких школах. Ребята любили его искренне и светло. Обожали за справедливость и доброту, ценили прекрасное знание предмета. Эти свои чувства дети передавали своим родителям. Учениками моего отца были и туркмены, и армяне, и русские. А у родителей учеников, в свою очередь, было полно родственников и знакомых как в городе, так и в окрестных аулах. Ну, а добрая молва вещь довольно прочная.

А кристальная честность отца? К тому же он хорошо владел несколькими языками: русским, армянским, туркменским. Прибавьте к этим достоинствам еще редчайшую физическую силу – и образ справедливого и мудрого батыра не нужно и искать. Он налицо! Подтверждение тому – его постоянные и активные общения с самыми разными людьми. К отцу приезжали из ближних и дальних аулов, чтобы решить конфликт, получить хороший совет, решить какую-то проблему. Туркмены считали его своим, потому что он свободно общался с ними по-туркменски, русские – потому что по-русски, ну а уж армяне тем более, потому что он был сам армянин. И он охотно объяснял людям законы, помогал найти справедливость, гасил страсти спорящих, а случалось, что и помогал любящим найти свое счастье. Впрочем, идеального в этом мире, к сожалению, ничего нет. Случались, хотя и редко, но все-таки пробуксовки. И об одной из них я сейчас расскажу.

В одном из аулов, километрах в тридцати от города, жил знаменитый бай Гельдымамед. Знаменит он был как богатством своим, так и жестокостью. Был он чем-то вроде маленького царька, окруженный многочисленными прислужниками и родней. До революции, по законам шариата, у правоверного мусульманина должно было быть максимально четыре жены. Но это для обычного мусульманина. Гельдымамед был великий бай, коварен, могуч и хитер. И, по слухам, жен у него было гораздо больше, чем полагалось. Да и кто посмел бы оспаривать у него эти права?! После революции настоящая советская власть проникала в аулы Туркмении медленно, даже очень медленно. И повесить над юртой аулсовета красный флаг – вовсе еще не значило утвердить в ауле новую жизнь. Законы ислама были еще сильны. И хоть и нелегально, но почти все свои прежние байские права сохранял и Гельдымамед. И неважно, как там назывались его многочисленные жены – близкими родственницами, дальними родственницами или какими-нибудь работницами, никто всерьез спорить об этом не смел. Власть его была еще очень и очень сильна, и подпиралась она не только богатством, но и бандами басмачей, которые довольно свободно могли появляться из-за ближайшей границы и под прикрытием темной ночи исполнить любой приказ Гельдымамеда. На своих отличных ахалтекинских скакунах появлялись они так же быстро, как и исчезали. Но вот в 1926 году, как гром среди синего

неба, стряслось неожиданное. Самая юная жена Гельдымамеда, пятнадцатилетняя Гюльджан сбежала в город! И сразу же пришла в дом к учителю Арташесу Асадову, попросила отвести ее в женотдел, сказала, что хочет вступить в комсомол и пойти учиться! Такого еще не случилось никогда. Мама моя приняла активнейшее участие в судьбе беглянки. Ее чисто умыли, одели, научили сидеть за столом и держать в руках карандаш. Не удивляйтесь, Гюльджан до прихода в город ни разу не сидела на настоящем стуле, ибо в юртах Туркмении ни столов, ни стульев не было никогда. План созрел моментально: обучить способную девушку русскому языку, чтению, письму, арифметике и срочно послать на курсы текстильщиц или на рабфак. И все бы именно так и произошло, если бы в дело не вмешался Гельдымамед. Появился он в городе удивительно скромно, без всякого сопровождения, тихо и незаметно. В дом вошел с обворожительной улыбкой на лице, кланяясь и прикладывая ладонь к сердцу. Долго пил чай на разостланной кошме, ибо столов и стульев демонстративно не признавал. Медленно наливал из цветистого чайника зеленый чай в пиалу и, положив за щеку набад – туркменский сахар, вел с отцом моим неторопливый разговор о различных делах, о погоде, урожае, ни единым словом не касаясь цели своего приезда. Но все в доме превосходно понимали, зачем явился грозный Гельдымамед. Мама моя, воспитанная на европейской культуре, с некоторыми азиатскими привычками смириться никак не могла. Она просто кипела от возмущения, глядя, как человек сидел в доме да еще и пил чай, не снимая шапки с головы. Она попросила мужа, который разговаривал с гостем по-туркменски, перевести ему, что в приличном доме сидеть в шапке не полагается. Папа не хотел переводить таких слов, но после настоятельных требований мамы все-таки перевел. Выслушав, Гельдымамед взглянул на нее презрительно, как на пустое место, и, не удостоив даже ответом, продолжал прерванный разговор. И вообще он не понимал, как такой хороший и уважаемый человек, как Арташес-ага, может позволить женщине находиться в комнате, где разговаривают мужчины?! У него в ауле ни одна женщина даже носа не посмела бы сунуть туда, где он беседует с гостем. Жена имела право только принести очередное блюдо, но и то ни в коем случае не появиться сама, а лишь просунуть руку из-за полога с кесой или чайником и тут же, ни разу даже не взглянув, исчезнуть, как дым. На стене висела грозная камча, с помощью которой жестоко пресекалось любое, даже крохотное нарушение традиций и правил дедов и отцов.

И когда папа перевел Гельдымамеду просьбу хозяйки снять папаху, тот в ответ только презрительно на нее посмотрел... Мама моя вспыхнула ярче алой косынки, в которой она ходила на работу и в женотдел. Она быстро подошла к Гельдымамеду и, одновременно пылая гневом и холодея от ужаса, схватила рукой его папаху и бросила ее на кошму. Под бараньей шапкой у Гельдымамеда, как и у большинства туркмен, была еще тубетейка. Гельдымамед кинул на нее быстрый, белый от ненависти взгляд. Рука его дернулась и стиснула костяную ручку ножа в серебряных ножнах. Несколько секунд Гельдымамед неподвижно сидел, зажав глаза и, очевидно, беря себя в руки, а затем тихо сказал моему отцу по-туркменски:

– Если бы она не была твоей женой, за такое оскорбление я зарезал бы ее на месте. Ни одна женщина не смеет дотрагиваться до головы мужчины. Пусть она благодарит Аллаха, что осталась жива. Пойди, выведи ее во двор и побей палкой.

Разумеется, бояться гнева Гельдымамеда отец мой не мог. Во-первых, Гельдымамед был его гостем, а во-вторых, авторитет моего отца среди всех марыйских туркмен был так высок, что ни о какой ссоре не могло быть и речи, ну а, в-третьих, о физической силе «батыра Арташеса» Гельдымамеду было отлично известно. Разряжая обстановку, отец мой раскатисто рассмеялся и сказал маме:

– Ты знаешь, что он говорит? Он велит побить тебя палкой!

– Меня палкой? – уже отходя, рассмеялась мама. – Переведи ему, что я сама могу побить тебя и даже оторвать тебе голову.

При этом она подошла к мужу и, взяв его рукой за волосы, шутя покачала его голову из стороны в сторону.

Смотреть на такие кошунственные вещи спокойно Гельдымамед не мог. Он отвернулся и даже сплюнул от ярости. Но впереди было дело, ради которого он приехал, и Гельдымамед взял себя в руки. А он умел это делать отлично. На мою маму он больше уже не смотрел. Он просто ее не видел. Лицо его снова приняло благодушно-спокойное выражение. Он еще поговорил с хозяином на разные житейские темы и наконец, как бы между прочим, повел разговор о Гюльджан. Он сказал, что побег его молодой жены лег тяжким позором на его голову. Никогда ни одна туркменка не убегала от своего мужа. Он надеется, что Арташес-ага отлично его понимает. Он просит привести его бывшую жену. Он подчеркнул это слово «бывшую», так как после позора, который она навлекла на его род, он уже жить с ней больше не будет, а отвезет ее обратно к родителям в ее родной аул. И к тому же он не может держать в своем доме комсомолку. Нет, он ее не тронет. В этом он готов поклясться. Просто он вернет ее родителям, и все. Это его законное право. А от родителей она может снова, если захочет, вернуться в город, и в комсомол, и куда угодно. Но тогда позора на нем, как на муже, не будет. Он сам от нее отказался и возвратил ее родным. Не она его бросила, а он сам отказался. Это для его чести важнее всего. Отцу моему слова Гельдымамеды показались резонными. Здесь он родился и вырос и в сложностях национальных традиций разбирался неплохо. Он попросил привести Гюльджан. Войдя в комнату и увидев Гельдымамеду, девушка побелела, как снег. Она опустила голову вниз и не смела произнести ни слова. Напротив, Гельдымамед расплылся в добродушной отцовской улыбке, хотя глаза его смотрели холодно и напряженно. Он заговорил приветливо и спокойно, но от этого голоса Гюльджан сжалась почти в комок. Гельдымамед снова повторил, что она нанесла ему тяжкую обиду, но он прощает ее за молодость и несерьезность. Он не будет ей мстить, а просто отвезет ее в аул к ее родителям и вернется обратно. А она может потом снова, если захочет, приехать учиться в город. Мой отец спросил ее, что она думает по этому поводу. Не поднимая глаз и мешая туркменские и русские слова, она тихо сказала:

– Нет, он не простит... Он все равно убьет меня... Зачем везти назад и мучить... Пусть лучше сейчас выведет во двор и убьет.

Гельдымамед, очевидно, предполагал подобный ответ. Он вынул из хурджина новенький, с серебряными застежками Коран и, положив на него свою большую волосатую руку, торжественно поклялся в том, что ни один волос не упадет с головы Гюльджан! Он обещает, что отвезет Гюльджан к родителям и сдаст им ее с рук на руки. И все! А в правдивости этих слов он клянется Кораном!

Та еще больше поникла и отрицательно замотала головой. Две слезинки бусинками скатились по ее щекам.

– Нет-нет!... Он все равно меня убьет... Я не хочу, не хочу ехать!

Гельдымамед подошел к ней, дружелюбно положил руку на ее голову и по-русски, чтобы поняли все, важно сказал:

– Когда Гельдымамед дает клятву, то эта клятва священна, а когда Гельдымамед дает клятву на Коране, тогда это в два раз свято! И зидэс, в гостях у Арташес-ага, как я магу свой слово нарушит? Ты должен ехать, чтобы вернуть мой честь!

Мама попыталась спорить:

– Нельзя ее отпускать, пусть сюда приедут сами ее родители.

Гельдымамед, снова обращаясь только к моему отцу, сказал:

– Нельзя так дэлат. Родители должэн получают ее из моих рук! Иначе мнэ будэт позор!..

Папа подошел к моей маме и тихо сказал:

– Ты знаешь, Лелинька, я думаю так: ну какой смысл ему убивать? Ведь за это он же пойдет под суд, мы ведь все знаем. А кроме того, он же поклялся на Коране, а для туркмена нарушить такую клятву смертельный грех. А если она останется в городе, какая гарантия, что

он через кого-то не попытается ей отомстить? Я считаю, что надо поверить. А она через пару недель снова вернется в город и пойдет учиться.

– Не знаю, – сказала сдаваясь мама, – ты лучше знаешь этот Восток. Возможно, что так и действительно лучше. Девочку очень жаль. Дай Бог, чтобы он слово свое сдержал.

И только одна Гюльджан, застывшая от безысходной тоски, все роняла и роняла слезы, повторяя одни и те же слова:

– Он убьет... он все равно меня убьет... я знаю...

В дом пришла заведующая женотделом, крупная решительная женщина. Внимательно расспросив обо всем, она обратилась к Гельдымамеду:

– Ну, смотрите, Гельдымамед! Дехкане вас боятся. Мы знаем. Но имейте в виду, Гюльджан мы в обиду никому не дадим! Чтобы не позже чем через месяц она была снова в Мерве, и мы направим ее на учебу. Через две недели приедем к вам в гости, ну и все увидим на месте. Раз нельзя иначе, давайте так и решим!

За окном уже стояла лошадь, запряженная в арбу, и пара верховых, появившихся неизвестно когда и откуда. Гюльджан усадили в арбу, покрытую кошмой, накинули ей на плечи шелковый цветастый платок, и гости уехали.

Спустя несколько недель выяснилось, что у Гельдымамеда его юной жены нет. Он вновь клятвенно заверил, что отвез ее, как и обещал, к родителям. Поехали в тот аул. Перепуганные родители сказали, что Гюльджан ни разу после замужества в доме их не была и Гельдымамед к ним не приезжал тоже. В городе забеспокоились. Решили послать к Гельдымамеду специальную комиссию для выяснения дела, но было уже поздно. Гельдымамед, у которого отношения с советской властью становились и без того с каждым днем все сложнее, исчез. Вместе со всем своим имуществом он под охраной отряда басмачей пересек афганскую границу и ушел в Персию (Иран). Следов же Гюльджан так найти и не удалось. Вероятнее всего, было так: на следующий день после возвращения домой Гельдымамед, как и обещал, повез свою бывшую жену назад в ее родной аул. Выехать выехал, а приехать не приехал. Завел в глубину Каракумов и убил. А где именно? Попробуйте отыщите труп худенькой девчонки в безбрежном море бурожелтых песков, которые без конца передвигаются в виде сыпучих барханов с места на место. Не мог злой и мстительный Гельдымамед простить своей юной жене ни побега, ни комсомола. А слово? Да какое может быть слово у человека с черной душой?! Не зря так боялась возвращаться обратно Гюльджан. Чужало ее сердце беду...

Мама рассказывала, что отец до последнего своего часа не мог простить себе того, что поверил клятве Гельдымамеда. Впрочем, понять его было нетрудно. Ни до этого случая, ни после ни один туркмен ни разу ни в чем ему не солгал.

Беда, как и радость, чаще всего приходит в дом неожиданно. В апреле 1929 года папе моему был всего тридцать один год. Ну скажите, дорогие люди, при взгляде на человека в таком возрасте, способного положить на лопатки даже профессионального борца, человека, из которого буквально фонтанируют энергия и веселье, может ли прийти в голову мысль о каком-то несчастье? Мне было в ту пору пять с половиной лет. Много относящееся к тем далеким дням побледнело и стерлось из моей памяти навсегда. Но тот драматический вечер я помню удивительно четко и по сей день. Я сидел за папиным письменным столом и рисовал цветными карандашами какие-то картинки. Только что пришедший с работы папа прилег отдохнуть на тахту. Мама жарила на керосинке ужин и рассказывала ему оживленно какие-то новости. Внезапно папа сказал неожиданно тихим и глуховатым голосом:

– Лелинька, сядь на минуточку со мной рядом.

Встревоженная не столько словами, сколько интонацией, мама бросила нож на сковородку и быстро к нему подошла.

– Сядь рядом, – еще раз тихо сказал папа. Он поднял рубашку и добавил. – Дай руку, нет, нет, вот сюда положи... Посмотри, какой твердый у меня живот...

Бросив карандаш, я во все глаза, обернувшись, смотрел, как мама осторожными движениями поглаживает его тело...

– Мама, – спросил я, – а что там такое?

Помню повернутое ко мне бледное лицо мамы с потемневшими глазами. Она взяла меня за руку и сказала:

– Ничего, ничего. Сейчас все пройдет. Ты пойдешь, побегай с ребятами по двору. Я тебя потом позову...

Апрель в Туркмении – это приблизительно июль в России. Во дворе было тепло и тихо. Я вышел из ворот на улицу. Встретил нескольких сверстников. Затеяли игру в прятки. Южная темнота сгущается быстро. Фонарей на улице всего один или два. Полусвет-полумрак. И чем темнее, тем играть интереснее. Детские впечатления меняются быстро. Увлеченный игрой, о папе я уже забыл. И когда мимо меня пробежал куда-то мой дядя Левон, я не обратил на это никакого внимания. Через какое-то время к нашим воротам подъехал, шурша надувными шинами, фаэтон, запряженный парой лошадей. Из фаэтона выскочил дядя Левон, или, как я привык его звать, дядя Лева, и, не обращая на меня внимания (чего не было никогда), кинулся быстро во двор. На козлах сидел меланхоличный, загорелый до черноты перс, он грыз тыквенные семечки и шелуху сплевывал на подвязанные лентами хвосты лошадей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.